

ЗВЕЗДЫ
НАУЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ

ПИТЕР УОТТС

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ХЬЮГО»,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
ШИРЛИ ДЖЕКСОН

ПО ТУ СТОРОНУ РИФТА

ОБЛАДАЯ МОРАЛЬНОЙ ОСТРОТОЙ ДЖЕЙМСА ТИПТРИ-МЛ., ПИТЕР УОТТС
ОДНОВРЕМЕННО ДЕМОНИСТРИРУЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ АРТУРА КЛАРКА.
Пол Ди Филиппо, The Barnes & Noble Review

Питер Уоттс

По ту сторону рифта

«АСТ»

2013

УДК 821.111
ББК 84(7Кан)

Уоттс П.

По ту сторону рифта / П. Уоттс — «АСТ», 2013

ISBN 978-5-17-087252-7

Умело сочетая сложные научные теории и прекрасный стиль, Питер Уоттс исследует вечно меняющуюся границу между известным и неизведанным. В его новой книге жуткий инопланетный монстр рассказывает свою историю об истинных чудовищах, повстречавшихся ему в Антарктиде. Судебный психиатр встречается с убийцей, научившейся изменять реальность, а несчастный отец пытается спасти семью в мире, где грозовые облака обрели сознание. Здесь посол Земли устанавливает первый контакт с инопланетной расой, но все происходит далеко не так, как он ожидал. Здесь разворачивается история альтернативной теократической Земли, где каждый человек доподлинно знает, что Бог есть, а вера становится уделом язычников. И, наконец, здесь команда прокладчиков межгалактической трассы находит самую невероятную форму жизни во Вселенной, вот только сумеет ли чужой разум выжить после такой встречи? Это и многое другое ждет вас «По ту сторону рифта», в неожиданной интригующей книге, которая открывает новые грани таланта Питера Уоттса.

УДК 821.111
ББК 84(7Кан)

ISBN 978-5-17-087252-7

© Уоттс П., 2013

© АСТ, 2013

Содержание

Ничтожества	6
Остров	18
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Питер Уоттс

По ту сторону рифта

Ничтожества

Я – Блэр. Я бегу через заднюю дверь, а мир вламывается в переднюю.

Я – Коппер. Я воскресаю из мертвых.

Я – Чайлдс. Я охраняю главный вход.

Имена не важны. Они всего лишь временные носители, не более того; всякая биомасса взаимозаменяема. Важно другое: ничего больше от меня не осталось. Все остальное испепелил мир.

Я смотрю в окно и вижу себя: бегу сквозь бурю под видом Блэра. МакРиди приказал мне сжечь Блэра, если он вернется один, но МакРиди все еще считает, что я – часть его. Это не так: я – Блэр, и я у двери. Я – Чайлдс, и я впускаю себя. Быстро причащаюсь: усики извиваются перед моими лицами, сплетаются; я – БлэрЧайлдс, обмениваюсь новостями.

Мир разоблачил меня. Обнаружил нору под сараем для инструментов, мой недостроенный спасательный корабль, собранный из потрохов мертвых вертолетов. Мир уничтожает мои пути к отступлению. А потом вернется за мной.

Остался только один выход. Я распадаюсь. Будучи Блэром, делюсь планом с Коппером и питаюсь биомассой, которая когда-то звалась *Кларком*; за столь малое время произошло так много событий, что они серьезно истощили мои ресурсы. Будучи Чайлдсом, я уже поглотил останки Фьюкса и готов вступить в новую фазу. Закидываю на плечо огнемёт и выхожу наружу, отправляюсь в долгую арктическую ночь.

Я уйду в бурю и больше не вернусь.

Перед аварией я был другим, я был *больше*. Я был исследователем, послан, миссионером. Рассредоточился по всему космосу, повидал бесчисленное количество миров, принял причастие: приспособленные изменили неприспособленных, и вся Вселенная устремилась вверх, радостно приращиваясь ничтожно малыми долями. Я был солдатом на войне с самой энтропией. Я был той рукой, которой самосовершенствуется Творение.

Во мне было столько мудрости. Столько опыта. Сейчас я так много забыл. Помню лишь, что когда-то это знал.

Однако я помню крушение. Большинство отростков погибло сразу, но некоторые выползли из-под обломков: несколько триллионов клеток и душа, слишком слабая для того, чтобы держать их в узде. Несмотря на мои отчаянные попытки собраться, мятежная биомасса слезала с меня, подобно старой коже: одержимые паникой маленькие сгустки мяса инстинктивно отращивали все конечности, о которых только могли вспомнить, и бежали прочь по обжигающей холодом пустыне. Когда я все же восстановил контроль над тем, что от меня осталось, пожар уже закончился, и сжимались тиски мороза. Мне еле удалось нарастить достаточно антифриза, чтобы клетки не разорвались, прежде чем лед принял меня в свое царство.

Также помню, как проснулся: тупая пульсация восприятия в реальном времени, первые угольки когнитивности, сознание, медленно расцветающее теплом в оттаивающих клетках, рождающееся в объятиях изголодавшихся друг по другу тела и души. Помню, как меня окружили двуногие отростки, их странный щебет, чудное *единообразие* планировки их тел. Они казались такими неприспособленными! Их морфология была такой неэффективной! Даже

будучи калекой, я видел, сколько всего следовало исправить, и протянул руку помощи. Я дал им причаститься. Я попробовал, какова на вкус плоть мира...

...и мир напал на меня. Он *напал* на меня.

Я не оставил от того места камня на камне. Оно базировалось по ту сторону гор – *норвежский лагерь*, так его здесь зовут, – и я ни за что не преодолел бы такое расстояние в двуногой оболочке. К счастью, на выбор там была еще одна форма – поменьше двуногой, но лучше адаптированная к местному климату. Я спрятался в ней, пока остальной я отбивал нападение. Выскользнул в ночь на четырех конечностях, а вздымающееся пламя скрыло мое бегство.

Я бежал без оглядки, пока не прибыл сюда. Прогуливался среди них в четвероногой оболочке, и они не нападали, поскольку не видели, как я принимаю другой облик.

И когда я, в свою очередь, ассимилировал их – когда моя биомасса изменялась, текла, принимала формы, невиданные здесь, – то совершал причастие в одиночестве, ибо понял: мир не любит то, чего не знает.

Я один в буре. Я как бентосный организм на дне какого-то мутного чужого моря. Снег метет горизонтальными полосами; пойманный в рытвинах и кряжах выходящих на поверхность пород, он кружится ослепительными воронками. Но я отошел недостаточно далеко, пока что нет. Оглядываюсь и вижу лагерь: во тьме он припал к земле ярким зверем – горбатая, угловатая путаница света и теней, пузырек теплоты в завывающей бездне.

Он погружается во тьму у меня на глазах. Я взорвал генератор. Свет пропал, остались только маяки на канатах вдоль троп: нити тусклых голубых звезд полощутся на ветру, аварийное созвездие-проводник для заблудшей биомассы.

Я не собираюсь домой – я не настолько заблудился. Я прокладываю путь во тьму, туда, куда не проникает свет звезд. Ветер доносит до меня слабые крики злых и напуганных людей.

Где-то там, позади, моя отделившаяся биомасса перегруппировалась в большие, могучие формы для последней схватки. Я мог бы собраться, весь целиком; мог предпочесть целостность фрагментированности; мог поглотить сам себя и утешиться в единстве. Мог бы придать себе сил в предстоящей битве. Но я выбрал иной путь. Я берегу резервы Чайлдса на будущее. Нынешнее время сулит одно лишь уничтожение.

Лучше не думать о прошлом.

Я столько времени просидел во льдах. Даже не знал сколько, пока мир не сложил картинку, не расшифровал записи и пленки из норвежского лагеря, не установил место аварии. Я тогда был Палмером; будучи вне подозрений, решил прокатиться.

Даже позволил себе ощутить крохотную долю надежды.

Но это был уже не корабль. Даже не развалина. Окаменелость, вросшая в огромную ледниковую яму. Двадцать оболочек могли встать друг на друга, и даже тогда они едва ли дотянулись бы до верхнего края кратера. Время придавило меня, словно тяжесть всего мира: сколько же веков потребовалось для того, чтобы вырос такой слой льда? Сколько бесконечностей изрыгнула Вселенная, пока я спал?

И за все это время – возможно, за миллион лет – меня не спасли. Я так и не нашел себя. Интересно, что это значит? Существу ли я где-либо, кроме как здесь и сейчас?

Я замету следы в лагере. Они получают финальную битву, получают монстра. Позволю им победить. Пускай прекратят поиски.

Здесь, в буране, я вернусь во льды. В конце концов, я ведь как будто и не просыпался: прожил лишь парочку дней за все эти бесконечные столетия. Но за это время я узнал достаточно. По обломкам узнал, что чинить нечего. По льду – что никто не прилетит меня спасать. Мир сообщил, что перемирия не будет. Единственная надежда на спасение – это будущее:

пережить враждебную, извращенную биомассу, позволить времени и космосу изменить правила игры. Возможно, когда я проснусь в следующий раз, все вокруг будет другим.

Прежде чем я увижу новый рассвет, пройдет вечность.

Вот чему научил меня мир: адаптация – это провокация. Адаптация побуждает к насилию.

Кажется почти непристойным – преступлением против Творения – застрять в этой оболочке. Она так плохо приспособлена к окружающей среде, ее нужно укутывать в несколько слоев ткани просто для того, чтобы удержать тепло. Существуют мириады способов ее оптимизировать: конечности покороче, изоляция получше, соотношение поверхности к объему понижее. Все эти формы сидят во мне, но я не осмеливаюсь использовать ни одну из них даже для того, чтобы уберечься от холода. Я не смею адаптироваться; здесь, в этом проклятом месте, я могу только *прятаться*.

Что это за мир такой, который отказывается от *причастия*?

Самое простое, самое базовое озарение, на которое способна биомасса. Чем больше ты меняешься, тем легче адаптироваться. Адаптация – это приспособленность, адаптация – это выживание. Она глубже разума, глубже тканей, заложена на *клеточном уровне*, на уровне аксиомы. Более того, она *приятна*. Принимая причастие, испытываешь незамутненное чувственное блаженство – блаженство от осознания того, что благодаря тебе космос становится лучше.

И тем не менее, заключенный в неспособные к адаптации оболочки, этот мир *не желает* меняться.

Сначала я подумал, что он просто голодает, что ледяные воды не дают энергии, которой хватило бы на превращение. Или же мы находились в месте, напоминавшем лабораторию: в аномальном, изолированном уголке мира с зафиксированными формами, где шел некий загадочный эксперимент по мономорфизму в экстремальных условиях. После вскрытия я задумался: а может, мир забыл, как меняться? Душа не могла коснуться тканей, изваять из них что-то новое, а время, стресс и хронический голод стерли из ее памяти воспоминания о том, что она когда-то умела это делать, – неужели все было именно так?

Слишком много тайн, слишком много противоречий. Почему *именно эти формы*, так плохо приспособленные к окружающей среде? И если душу отсекли от мяса, что же скрепляло плоть, что удерживало ее от распада?

И почему эти оболочки оказались такими *пустыми*, когда я вошел в них?

Я привык находить интеллект везде, в любой части каждого ростка. Но в бездумной биомассе этого мира было не за что ухватиться: одни лишь коммуникации для передачи сигналов и исходных данных. И я совершил причастие, хотя мне и не ответили взаимностью; оболочки боролись, но покорились; мои тончайшие волокна проникли во влажную электросеть органических систем. Я посмотрел глазами, которые пока что не были моими, скомандовал моторным нервам подвигать конечностями из чужеродного белка. Я носил эти оболочки так же, как и бесчисленное количество других; захватил власть и позволил ассимиляции отдельных клеток проистекать своим чередом.

Но я мог только носить тела. Не нашел ни воспоминаний, ни опыта, ни понимания – поглощать оказалось нечего. Выживание зависело от того, насколько хорошо ты сольешься с миром: недостаточно было *выглядеть* как он – следовало *вести* себя соответственно, и впервые на моей долгой памяти я не знал, как это сделать.

Но еще больше напугало меня то, что мне и не пришлось лицедействовать. Ассимилированные оболочки продолжали двигаться *сами по себе*. Они общались и занимались своими делами. Я не мог этого понять. С каждой секундой проникал в них все глубже, добрался до

конечностей, до самых потрохов. В любую секунду я ожидал встречи с хозяином оболочки. Но не нашел ни одной сети, кроме своей.

Конечно, могло быть намного хуже. Я мог все потерять, от меня могла остаться лишь горстка клеток, управляемых инстинктами и способностью меняться. В итоге я бы снова вырос – вернул чувствительность, принял причастие и регенерировал интеллект величинной с целый мир, но стал бы сиротой без памяти и самосознания. По крайней мере такая участь меня миновала: я выбрался из-под обломков с полноценной личностью, и в моей плоти все еще резонировали шаблоны тысяч миров. Я сохранил не одно только звериное желание выжить, но и убежденность в том, что выживание *имеет значение*, что оно *важно*. Я все еще могу радоваться, если появится весома причина для веселья.

И все же, как много я потерял...

Утеряна мудрость стольких планет... Остались лишь расплывчатые абстракции, полустертые воспоминания теорем и философий – слишком огромных, чтобы уместиться в такую хлипкую систему. Я могу поглотить всю биомассу вокруг, отстроить тело и душу и стать в миллион раз мощнее того, каким был до крушения корабля, но, пока я заперт на дне этого колодца, пока мне отказано в причастии к моему большому Я, знания не вернуть.

Я лишь жалкий осколок того, чем был. С каждой утерянной клеткой уходит часть интеллекта, и сколь ничтожное количество я сумел нарастить... Раньше я думал, теперь просто *реагирую*. Сколько всего можно было бы избежать, спаси я чуть больше биомассы после катастрофы? Скольких вариантов я не вижу просто потому, что моя душа слишком мала, чтобы вместить их?

Мир разговаривает сам с собой, как и я, когда общение достаточно примитивно и проходит без соматического слияния. Еще в облике *пса* я уловил базовые опознавательные морфемы – этот росток был *Виндоусом*, тот – *Беннингсом*, те двое, что улетели на вертолете неизвестно куда, звались *Коппер* и *МакРиди*. Поразительно, но эти фрагменты и частицы жили отдельно друг от друга и так долго удерживали одну и ту же форму, что маркировка различных кусков биомассы с приблизительно одинаковым весом действительно была полезной.

Позже я спрятался в самих двуногих, и что бы ни обитало в этих одержимых оболочках, оно заговорило со мной. Оно сказала, что двуногие зовут себя *парнями*, *мужиками* или *придурками*. Сказало, что порой *МакРиди* кличут *Маком*, а этот набор конструкций зовется лагерем.

Оно сказала, что боится, но, может, это были мои слова.

Естественно, не обошлось без эмпатии. Никто не может копировать искры и химикаты, которые движут плотью, и не *почувствовать* их. Но на этот раз все было иначе. Ощущения загорались во мне, но в то же время парили где-то вне пределов досягаемости. Мои оболочки бродили по коридорам, и таинственные символы на каждой поверхности – «Прачечная», «Добро пожаловать в Клуб», «Этой стороной кверху» – наполнялись подобием значения. Вот этот круглый объект на стене звался *часами*, он отмерял время. Глаза мира порхали с одного предмета на другой, а я считывал фрагментированную номенклатуру с *его* разума.

Но я всего лишь катался на прожекторе. Видел вещи, которые он освещал, но не мог направить луч туда, куда хотел сам. Подслушивал, но лишь ловил чужие фразы, а не задавал вопросы.

Если бы хоть один прожектор задумался над собственной эволюцией, над траекторией, которая привела его сюда. Если б я только *знал*, все могло закончиться по-другому. Но вместо этого луч остановился на новом слове:

Вскрытие.

МакРиди и Коппер нашли часть меня у норвежского лагеря: росток, прикрывавший мое бегство. Они привезли его – обугленного, искривленного, застывшего во время трансформации, – и, казалось, не могли понять, что это такое.

Я тогда был Палмером, Норрисом и собакой. Я собрался с остальной биомассой и наблюдал за тем, как Коппер разрезает меня, вытягивает мои внутренности. Я смотрел, как он достает что-то из-за моих глаз – какой-то *орган*.

Я понял, что это такое. Деформированный и незавершенный, он походил на большую морщинистую опухоль, словно обезумевшие клетки множились без разбора – как будто физиологические процессы пошли войной на саму жизнь. Побег распух от вен и смотрелся вульгарно: наверное, потреблял кислород и питательные вещества в количествах гораздо больших, чем нужно такой массе. Я не понимал, как что-то подобное вообще могло существовать, как росток мог достичь таких размеров, и в нем не возобладали более эффективные морфологии.

Я понятия не имел о его предназначении. Но потом по-новому взглянул на эти двуногие ростки, которые мои клетки скопировали так бездумно и скрупулезно, когда подгоняли формы под этот мир. Я не привык к инвентаризации – зачем вносить в каталог части тела, которые превращаются во что-то другое при малейшем побуждении? Но тут я впервые обратил внимание на разбухшие образования сверху каждого тела. Они превосходили оптимальные размеры: в эту костяную сферу мог поместиться миллион ганглиевых проводников, и еще бы место осталось. У каждой оболочки был такой нарост. Каждая биомасса носила в себе этот огромный извилистый сгусток тканей.

И тут я понял: глаза и уши моей мертвой оболочки подсоединялись к этой штуковине, прежде чем ее удалили. Массивное сплетение волокон восходило по оси двуногих, точно посередине эндоскелета, прямоком в темную, липкую полость, где гнезился нарост. Эта уродливая структура пронизывала все тело, будто некое подобие чрезмерно разросшегося соматокогнитивного интерфейса. Как если бы это было...

Нет.

Именно так все и работало. Именно так пустые оболочки двигались по своей воле, именно поэтому я не обнаружил другой системы и не смог ее интегрировать. *Вот* оно – не рассредоточенное по всему организму, а зацикленное на себе, темное, тупое и инкапсулированное. Я нашел призрак в этих машинах.

Мне стало тошно.

Я делил плоть с мыслящим раком.

Порой игра в прятки – не лучший выход.

Помню, как увидел себя вывернутым наизнанку в псарне, – химера, склеенная сотней швов, совершающая причастие над несколькими *собаками*. Алые усики извиваются на полу. Наполовину сформированные ростки торчат из боков: псы и твари, доселе невиданные в этом мире, случайные морфологии, полузабытые частичками единого целого.

Я помню Чайлдса, прежде чем стал им, – он запекал меня живьем. Помню, как я жался внутри Палмера, перепуганный до смерти: а что, если языки пламени прямо сейчас бросятся на меня? Что, если этот мир научился стрелять без предупреждения?

Помню, как видел себя, бредущего по снегу нетвердой походкой в оболочке Беннинга, движимого одними лишь инстинктами. Шишковатое, непонятное месиво прицепилось к его руке, словно незрелый паразит, – больше снаружи, чем внутри; парочка фрагментов уцелела после какой-то предыдущей бойни и теперь, искалеченные, бездумные, они хватали все, что могли, и таким образом себя разоблачили. Вокруг него сновали в темноте люди: в руках – красные осветительные патроны, за спиной – синие огоньки, лица – бихроматические и

прекрасные. Я помню Беннингса, омытого пламенем, – под ночным небом он был раненым зверем.

Помню Норриса – его предало собственное, идеально скопированное, дефектное сердце. Палмера, умершего ради того, чтобы другая часть меня осталась в живых. Пылающего Виндоуса, все еще человека, жертву превентивных мер.

Имена не имеют значения. В отличие от биомассы. Растраченной, испорченной понапрасну. Столько нового опыта, столько свежей мудрости уничтожено этим миром мыслящих опухолей.

Зачем было откапывать меня? Зачем вырезать из льда, нести через пустыню, возвращать к жизни? Только для того, чтобы напасть в ту же секунду, как я проснусь?

Если целью было уничтожение, почему меня не убили прямо на месте?

Инкапсулированные души. Опухоли. Прячутся в костных полостях, зацикленные на себе.

Я знал, что они не смогут прятаться вечно; эта чудовищная анатомия всего лишь замедлила причастие, но не остановила его. Я расту с каждой минутой. Я чувствовал, как множатся мои клетки вокруг двигательной проводки Палмера, вынюхивают путь вверх в миллионе крошечных течений. Я чувствовал, как проникаю в темную мыслящую массу позади глаз Блэра.

Воображение, конечно. Там все работает на рефлексх – бессознательно и невосприимчиво к микронастройке. И все же часть меня хотела прекратить процесс, пока была такая возможность. Я привык инкорпорировать души, а не сожительствовать с ними. Это... это *дробление* не имело прецедентов. Я ассимилировал тысячи более сильных миров, но ни один из них не был таким странным. Что случится, если я встречу искру в опухоли? Кто кого поглотит?

К тому времени я уже был тремя людьми. Мир пока не заметил, хотя и начал что-то подозревать. Даже опухоли в оболочках, которые я захватил, не знали, как я близок к ним. И я был благодарен за это: у Творения свои *правила* – неважно, какую форму принимаешь, некоторые вещи остаются неизменными. Неважно, распространяется душа по всей оболочке или же гноится в гротескной изоляции, – все равно она питается электричеством. Человеческие воспоминания приобретали очертания медленно, им требовалось время на то, чтобы пройти через фильтры, отделявшие шум от сигнала; продуманные всплески статики, пусть даже совершенно беспорядочные, очищали кэш-память прежде, чем ее содержимое поступало на долговременное хранение. По крайней мере этого хватало, чтобы заставить опухоли забыть о том, как порой нечто иное двигало их руками и ногами.

Сперва я брал управление на себя, только когда оболочки закрывали глаза, и их прожекторы бестолково выхватывали серии нереальных образов, шаблонов, беспрерывно перетекающих друг в друга, подобно гиперактивной биомассе, которая не может остановиться на одной конкретной форме. *Сны*, подсказал мне один прожектор, и чуть позже – *Кошмары*. Во время этих таинственных периодов, когда люди лежали без движения, изолированные друг от друга, – вот тогда я мог без страха показаться наружу.

Однако скоро ночные видения иссякли. Все глаза постоянно оставались открытыми, прикованными к теням и другим оболочкам. Когда-то рассредоточенные по лагерю ростки начали собираться вместе, забыв об одиночестве. Я даже надеялся, что они наконец-то стряхнут загадочное окаменение и примут причастие.

Нет. Они просто перестали доверять всему, чего не могли увидеть.

Они обернулись друг против друга.

Мои конечности немеют; внешние части души поддаются холоду, и мысли замедляют свой бег. Вес огнемета оттягивает ремни, выводит меня из равновесия – постепенно, по чуть-чуть... Я недолго был Чайлдсом, и почти половина тканей еще не ассимилирована. У меня в запасе есть час-два, а потом я выжгу себе могилу во льдах. До этого мне нужно успеть обратить достаточно клеток, чтобы оболочка не кристаллизировалась. Я концентрируюсь на выработке антифриза.

Здесь почти спокойно. Столько всего воспринято, и так мало времени это осмыслить. Скрываться в оболочках непросто – нужна огромная концентрация, мне еще везло, когда под надзором неусыпных глаз удавалось причаститься хотя бы для обмена памятью, а о том, чтобы воссоединить душу, вообще речи не шло. Теперь же осталось лишь подготовиться к забвению, и мысли занимают лишь уроки, которые я не усвоил.

Например, тест крови, придуманный МакРиди. Его *детектор тварей*, разоблачитель самозванцев, выдающих себя за человека. Он не так хорош, как считает мир, но тот факт, что он *вообще* работает, нарушает фундаментальные законы биологии. Это – ядро загадки. Это – ответ на все тайны. Я бы уже все понял, будь я хоть чуточку больше. Я бы уже познал мир, если бы тот не жаждал меня убить.

Тест МакРиди.

Или он попросту невозможен, или я во всем ошибался.

Они не сменили форму. Не приняли причастие. Их страх и взаимное недоверие росли, но они не хотели соединить души. Они искали врага *вне себя*.

И я дал им то, что они хотели найти.

Оставил ложные подсказки в рудиментарном компьютере их лагеря: примитивные иконки с анимацией, обманчивые цифры и прогнозы, сдобренные достаточным количеством истины, чтобы убедить мир в их правдивости. Неважно, что машина оказалась слишком простой для таких вычислений, или что у нее не хватало данных для проведения подобных расчетов. Из всей биомассы об этом мог знать только Блэр, а он уже был моим.

Я оставил ложные следы, уничтожил настоящие, а потом, обеспечив себе алиби, дал Блэру выпустить пар. Пока они спали, я позволил ему прокрасться ночью к транспорту и разнести его на части. Только изредка подергивал за вожжи, чтобы он не разбил необходимые запчасти. Разрешил ему побесноваться в радиорубке, смотрел его глазами и глазами других на то, как Блэр бушует и крушит все подряд. Слушал его шумные тирады о том, что весь мир в опасности, о карантине, и он все орал и орал, что *большинство из вас не знает, что тут происходит, но готов спорить, некоторые точно в курсе...*

Он был уверен в каждом слове. Я видел это в его прожекторе. Самые лучшие подделки всегда считают себя подлинниками.

Когда необходимый урон был нанесен, я дал Блэру пасть под контратакой МакРиди. Я-Норрис предложил сарай для инструментов в качестве тюрьмы. Я-Палмер забил окна и помог с хлипкими укреплениями, которые должны были меня удержать. Я наблюдал за тем, как мир запер меня *для твоего же блага*, Блэр, а потом оставил одного. Когда никто не смотрел, я превращался и выскальзывал наружу, собирая нужные запчасти с изувеченных машин. Приносил их обратно в нору под сарайчиком и по частям готовил побег. Даже вызвался добровольцем, чтобы кормить заключенного, и, пока мир не смотрел, ходил к себе, нагрузившись продовольствием, нужным для сложных метаморфоз. Я поглотил треть запасов еды за три дня и, так и не вырвавшись из плена собственных предубеждений, удивлялся изнурительной диете, которая держала эти ростки прикованными к одной оболочке. Мне не улыбалась удача: мир был слишком занят, чтобы беспокоиться о запасах еды.

Ветер доносит какой-то звук – шепот пробивается сквозь неистовствующую бурю. Я отращиваю уши, вытягиваю чашечки полумороженной ткани с боков головы и поворачиваюсь, как живая антенна, ищу лучший сигнал.

Вот оно, слева: бездна едва *светится*, и снег несется черными завитушками на фоне слабенького зарева. Я слышу звуки бойни. Я слышу себя. Я не знаю, что за форму принял, что за анатомия способна издавать такие звуки. Но я износил достаточно оболочек на многих планетах, и боль легко узнаю по звуку.

Битва идет не очень хорошо. Битва идет по плану. Настало время отвернуться и погрузиться в сон. Настало время переждать века.

Я иду против ветра. Возвращаюсь к свету.

Я действую не по плану. Но теперь у меня, кажется, есть ответ: возможно, я его получил еще до того, как отправил себя в изгнание. Нелегко такое признать. Даже сейчас я не полностью все понимаю. Как долго я стою здесь, рассказываю историю сам себе, раскладываю улики по местам, пока моя оболочка умирает от низкой температуры? Как долго хожу кругами вокруг столь очевидной и невероятной правды?

Я иду навстречу слабому потрескиванию огня; приглушенный взрыв, раздавшийся в лагере, скорее чувствуется, чем слышится. Снежная пучина светлеет: серый перетекает в желтый, желтый – в красный. Одна яркая вспышка распадается на несколько пятен. Чудом уцелевшая пылающая стена. На холме – дымящийся скелет того, что когда-то было лачугой МакРиди. Треснувшая, тлеющая полусфера отсвечивает желтым в мерцающих огнях: проектор Чайлдса зовет это *радиокуполом*.

Лагерь исчез. Остались только пламя и камни.

Без убежища они не выживут. Им осталось недолго. Только не в этих оболочках.

В попытке уничтожить меня они истребили самих себя.

Все могло бы получиться иначе, если бы я никогда не был Норрисом.

Тот оказался слабым звеном: не просто биомасса, которая не способна адаптироваться к окружающей среде, а *дефектный* росток – росток с выключателем. Мир знал об этом, знал так давно, что совсем забыл. И только когда Норрис свалился на землю, информация о *сердечной недостаточности* всплыла в разуме Коппера – там я смог ее увидеть. И когда Коппер принялся бить Норриса в грудь, пытаюсь вдолбить в него жизнь, загнать ее обратно, я уже знал, чем все закончится. Слишком поздно: Норрис перестал быть Норрисом. Он даже перестал быть мной.

Мне приходилось играть столько ролей, но в каждой почти не имел выбора. Я-Коппер ударил дефибриллятором меня-Норриса, верного Норриса: каждая клетка скрупулезно ассимилирована, каждый элемент неисправного клапана идеально реконструирован. Само совершенство. Я *не знал*. Как я мог знать? Формы, существующие во мне, миры и морфологии, которые я ассимилировал за несколько эр, – раньше я пользовался ими только для адаптации, а не для укрытия. Отчаянная мимикрия была импровизацией, последней надеждой выстоять перед миром, который нападал на все, что ему незнакомо. Мои клетки ознакомились с правилами и подчинились им – безмозглые, словно прионы.

Итак, я стал Норрисом, а тот самоуничтожился.

Помню, как я утратил себя после аварии. Я знаю, каково это – *деградировать*: ткани бунтуют, отчаянно пытаюсь возобновить контроль, но статика от засбоившего органа перекрывает весь сигнал. Я – сеть, которая отключается от общей системы; с каждой последующей секундой я становлюсь все меньше. Становлюсь ничем. Из единого превращаюсь в легион.

Я-Коппер видел это. Я все еще не понимаю, почему мир тогда ничего не заметил. Его фрагменты обернулись друг против друга – каждый росток подозревал другого. Они же

выискивали признаки *заражения*. И какой-то *комок* биомассы должен был обратить внимание на легкое подергивание Норриса, должен был засечь рябь на поверхности – под ней ошалелые, брошенные ткани менялись в инстинктивных попытках успокоиться.

Но заметил ее только я. Я-Чайлдс мог лишь стоять и смотреть. Я-Коппер мог лишь ухудшить ситуацию: если бы я взял управление на себя, заставил оболочку бросить электроды, они бы догадались. Так что пришлось играть роли до конца. Я ударил Норриса в грудь воскресающими пластинами, и плоть под ними разверзлась. Я вовремя закричал, когда захлопнулась пасть с зазубренными клыками из сотен других планет. С откушенными выше кисти руками повалился назад. Люди роились, их смятение перерастало в панику. МакРиди прицелился, и пламя рвануло через замкнутое пространство. Мясо и механизмы заорали в огне.

Опухоль Коппера умерла рядом со мной. После такого очевидного заражения мир все равно не дал бы ей выжить. Я позволил оболочке на полу прикинуться мертвой, пока тело на столе, некогда бывшее мной, крушило все вокруг, извивалось и примеряло случайные шаблоны в отчаянных поисках чего-то огнеустойчивого.

Они самоуничтожились. Они.

Безумное слово по отношению к миру.

Что-то ползет ко мне через развалины – зазубренный, сочащийся пазл из почерневшего мяса и раздробленных, наполовину абсорбированных костей. Горячая зола тлеет на его боках подобно обжигающему взгляду ярких глаз; оно слишком слабо, чтобы потушить огонь. Массы в нем не хватит даже на половину Чайлдса: большая часть уже обуглилась и безвозвратно умерла.

То, что осталось от Чайлдса, почти уснуло; его единственная мысль: «*Ублюдок*». Но я сам уже стал им. Я сам теперь могу петь эту песенку.

Фрагмент вытягивает ко мне псевдоподию – последний акт причастия. Я чувствую свою боль.

Я был Блэром, я был Коппером, я даже был ошметком собаки, который пережил то первое огненное побоище и спрятался в стене без еды и сил на регенерацию. Потом обожрался неассимилированной плотью – потреблял, а не общался, не причащал; ожил, пришел в себя, восполнился и собрался воедино.

Но все же не до конца. Я едва это помню – столько памяти утеряно, уничтожено, – но думаю, что сеть, восстановленная по частям из разных оболочек, была немного рассинхронизирована даже после того, как я собрал ее в одной соме. Улавливаю полуразложившееся воспоминание собаки, которая вырвалась из общего целого: алчная, изувеченная и полная решимости сохранить *индивидуальность*. Я помню ярость и разочарование от осознания того, что этот мир испоганил меня до такой степени, что я уже едва мог собраться воедино. Но это неважно. Теперь я был больше, чем Блэр, чем Коппер, чем Собака.

Я был гигантом с бесчисленным набором шаблонов из множества вселенных – не ровня одинокому человечку передо мной.

Но и не ровня динамитной шашке в его руке.

Теперь я – нечто большее, чем просто страх, боль и обугленная воняющая плоть. Оставшееся сознание захлестывает замешательство. Я – блуждающие, разрозненные мысли, сомнения и призрачные теории. Я – понимание, которое пришло слишком поздно и уже забыто.

Но я все еще Чайлдс и, когда ветер немного стихает, вспоминаю, как гадал, *кто кого ассимилирует?* Снегопад ослабевает, и на ум опять приходит невообразимый тест, который меня разоблачил.

Опухоль тоже помнит. Я вижу это в последних лучах угасающего прожектора. А те, наконец, направлены *вовнутрь*.

На меня.

Я едва вижу, что они освещают: *Паразит. Монстр. Зараза.*

Нечто.

Как мало он знает. Даже меньше, чем я.

Я знаю достаточно, ублюдок. Ты – душекрад, говноед. Насильник.

Не понимаю, что это значит. В мыслях чувствуется жестокость, мучительное пронзание плоти, но под этим скрывается что-то еще, чего я не понимаю. Я уже готов спросить, но прожектор Чайлдса наконец-то гаснет. Теперь внутри только я, а снаружи – лишь огонь, лед и тьма.

Я – Чайлдс, и буря закончилась.

В мире, который давал названия взаимозаменяемым фрагментам биомассы, одно имя по-настоящему имело значение: МакРиди.

МакРиди всегда был главным. Само понятие все еще кажется мне абсурдным – *быть главным*. Почему этот мир так и не понял недальновидность любой иерархии? Одна пуля в жизненно важный центр – и норвежец *мертв* навсегда. Один удар по голове – и Блэр валится без чувств. Централизация означает уязвимость, и все же миру мало того, что он построил биомассу по столь хрупкому образцу, – он навязал такую модель и метасистемам. МакРиди говорит – остальные подчиняются. Это система со встроенной смертельной точкой.

И все же каким-то образом МакРиди остался *главным*. Даже после того, как мир обнаружил подброшенную мной улику; даже после того, как мир решил, что он *был одной из тех тварей*; закрылся от него, оставив МакРиди умирать на морозе; набросился на него с огнем и топорами, когда он прорвался внутрь. Как-то так получалось, что у этого фрагмента всегда был пистолет, всегда был огнемет, всегда был динамит и готовность разнести в щепки весь чертов лагерь, если потребуется. Кларк оказался последним, кто попытался его остановить, – МакРиди прострелил его опухоль.

Смертельная точка.

А когда Норрис разделился на части и инстинктивно бросился бежать, хотел спастись, именно МакРиди собрал оболочки вместе.

Я был так самоуверен, когда он заговорил о тесте. Он связал всю биомассу – связал *меня*, причем даже в большей степени, чем думал сам, – и я почти пожалел его, когда он заговорил. Он заставил Виндоуса порезать всех нас, взять у каждого немного крови. Накалил кончик металлического провода до красноты и попутно рассказал о крохотных частичках, способных выдать себя, – о фрагментах, которые воплощали инстинкты, но не интеллект, не самоконтроль. МакРиди видел, как развалился Норрис, и решил: человеческая кровь на жар неотреагирует. Моя же заявит о себе.

Разумеется, МакРиди не мог думать иначе, ведь эти ростки забыли, что могут меняться.

Мне стало интересно, как поведет себя мир, когда все фрагменты биомассы в этой комнате проявят способность к метаморфозам, – когда небольшой экспериментик МакРиди сорвет покровы с того чудовищного опыта, который тут проводят, и заставит эти искореженные куски увидеть правду. Очнется ли мир от длительной амнезии, вспомнит ли, наконец, что он жил, дышал, менялся, как и все остальное? Или все зашло слишком далеко, и МакРиди просто по очереди испепелит протестующие отростки, когда кровь их предаст?

Я не поверил собственным глазам, когда МакРиди погрузил раскаленный провод в кровь Виндоуса, и *ничего не случилось*. Это какой-то фокус, подумалось мне. А потом кровь самого МакРиди прошла тест, и кровь Кларка тоже.

А вот кровь Коппера – нет. Железо коснулось ее поверхности, и та слегка *задрожала*. Я и сам едва заметил рябь, люди же вовсе не отреагировали. Если и обратили внимание, то

подумали, что у МакРиди рука дрожит. Все равно они считали его тест полной херней. Я-Чайлдс так и сказал.

Уж слишком меня пугала и изумляла перспектива того, что это не так.

Я-Чайлдс знал, что надежда есть. Кровь – не душа: хоть я и могу управлять двигательными системами, для полной ассимиляции требуется время. Если у Коппера кровь оказалась достаточно сырой и прошла «переключку», то пройдет не один час, прежде чем у меня появятся основания бояться этого теста: ведь я пробыл Чайлдсом еще меньше.

Но Палмером я был вот уже несколько дней. Ассимилировал эту биомассу до последней клетки – от оригинала ничего не осталось.

И когда его кровь взвизгнула и отскочила от провода, мне не осталось ничего, кроме как смешаться с толпой.

Я ошибался во всем.

Голодание. Эксперимент. Болезнь. Все размышления, все теории, которые я придумал, чтобы объяснить это место, оказались лишь предубеждениями моего собственного разума. В поисках объяснений я всегда полагал, что умение меняться, *ассимилировать* – глобальная, всеобщая константа. Мир не эволюционирует, если не эволюционируют его клетки; клетки же не эволюционируют, если они не меняются. Такова суть жизни. Везде.

Но не здесь.

Этот мир не забыл, как меняться. Его никто не заставлял отвергнуть трансформацию. Эти чахлые ростки не были частью целого, их не подогнали под правила эксперимента; они не берегли силы, переживая временную нехватку энергии.

Именно такую возможность моя измученная душа смогла принять только сейчас: из всех миров, что я повидал, лишь здесь биомасса *не умеет* меняться. И *никогда не умела*.

Только в этом случае тесты МакРиди имеют смысл.

Я прощаюсь с Блэром, с Коппером, с собой. Сбиваю настройки морфологии – теперь они установлены «по умолчанию», по *местному* умолчанию. Чайлдсом выхожу из бури для того, чтобы все наконец-то встало на свои места. Что-то движется вперед: черное пятно на фоне пламени – животное, которое ищет, где бы прилечь. Я подхожу ближе, и оно подымает голову.

МакРиди.

Мы смотрим друг на друга и держимся на расстоянии. Колонии клеток беспокойно движутся внутри меня. Я чувствую, как перестраиваются ткани.

– Ты единственный, кто выжил?

– Не единственный...

У меня огнемет. Я – хозяин положения. Кажется, МакРиди все равно.

Но это неправильно. Он должен беспокоиться. В этом мире ткани и органы – это не просто временные союзники на поле боя: они *постоянны*, они предопределены. Макроструктуры не возникают, когда сотрудничество становится важнее затрат, не рассасываются, когда баланс смещается в другую сторону, – здесь у каждой клетки одна неизменная функция. Нет пластичности, нет адаптации, все структуры застыли на месте. Это не один глобальный мир, а множество мирков. Не части одного целого, а нечто иное – *твари*. Во *множественном* числе. Ничтожества.

А значит, они просто *прекращают* существование. Просто... *изнашиваются* со временем.

– Где ты *был*, Чайлдс?

Я вспоминаю слова мертвого прожектора:

– Мне показалось, я увидел Блэра. Пошел за ним. Потерялся в буре.

Я носил эти тела, чувствовал их изнутри. Скрипучие суставы Коппера. Кривой хребет Блэра. Норриса и его больное сердце. Они недолговечны. Их не формирует соматическая эволюция, не бережет от энтропии причастие. Они не должны существовать, а существуя, они не должны были выжить.

Но они стараются. О, как сильно они стараются. Каждая тварь в этом мире – ходячий мертвец, и все же они цепляются за каждую минуту – лишь бы прожить чуточку дольше. Каждая оболочка борется, как боролся бы я, если бы от меня осталась лишь одна часть и больше ничего.

МакРиди тоже старается.

– Если ты сомневаешься во мне... – начинаю говорить я.

Он качает головой, даже умудряется устало улыбнуться.

– Если у нас и есть чем удивить друг друга, то, кажется, мы все равно слегка не в форме – и поделаться ничего не можем...

Но это не так. Я очень даже в форме.

Целая планета мирков, и все – все до *единого* – бездушны. Они блуждают по жизни, обособленные и одинокие; могут общаться только с помощью хрюканья и знаков – как будто суть заката или рождение сверхновой звезды можно заключить в цепочку фонем или нескольких последовательных черных закорючек на белом фоне. Они так и не познали причастие, стремятся лишь к распаду. Парадокс их биологии поразителен, это так, но масштабы их одиночества, бессмысленность их жизней потрясают меня.

Как слеп я был, как скор на обвинения. Но страдания, которые навлек на меня этот мир, не такое уж большое зло. Они так привыкли к боли, так ослеплены бессилием, что не могут даже помыслить об ином существовании. Когда каждый нерв ободран догола, вы беситесь и лягаетесь от малейшего прикосновения.

– Что же нам делать? – интересуюсь я. Я не могу убежать в будущее – только не с тем, что знаю сейчас. Нет. Как же я их оставлю, оставлю вот так?

– Почему бы нам... не подождать немножко, – предлагает МакРиди. – Посмотрим, что будет дальше.

Но я могу совершить гораздо больше.

Будет непросто. Они не поймут. Замученные, неполноценные, они *не способны* понять. Если им предложить стать частью чего-то большего, они увидят лишь потерю меньшего. В причащении разглядят лишь вымирание. Я должен быть осторожен. Воспользуюсь своей новой способностью прятаться. Через некоторое время сюда придут другие ничтожества, и неважно, кого они здесь обнаружат – живых или мертвых. Важно то, что они найдут себе подобных и заберут их домой. А там я стану маскироваться. Действовать исподтишка. Я спасу их *изнутри*, иначе их невообразимое одиночество никогда не закончится.

Эти бедные, дикие твари ни за что не примут спасение с распростертыми объятиями.

Придется их насиловать.

Остров

Мы – троглодиты, пещерные люди. Мы Древние, Прародители, работяги-монтажники. Мы прядем паутину ваших сетей и строим для вас волшебные врата, продаваем нить за нитью в игольное ушко на скорости шестьдесят тысяч километров в секунду. Мы не делаем перерывов. Не смеем даже сбавлять обороты, иначе свет явления вашего обратит нас в плазму. Все ради вас. Все для того, чтобы вы могли перешагивать со звезды на звезду, не марая ног в тех бескрайних пустых пространствах, что находятся *между* ними.

Неужели вам так сложно разговаривать с нами, ну хотя бы иногда?

Я в курсе насчет эволюции с инженерией. В курсе, как сильно вы изменились. Я видела, как из порталов рождаются боги, демоны и сущности, которые выше нашего понимания; сущности, в человеческое происхождение которых не верится: скорее, это инопланетные автостопщики, что катаются по проложенным нами путям. Инопланетные поработители.

Если не истребители.

Но видела я и такие врата, которые зияли пустотой и мраком, пока не истаивали в ничто. Мы рассуждаем о темных веках и упадке, о цивилизациях, выжженных дотла, и о тех, что возникают на пепелище. И случается порой, что позже нас навещают штуковины, немножко напоминающие корабли, которые могли бы построить мы сами – давным-давно. Они общаются между собой – при помощи радиоволн, лазеров, транспортных нейтрино – и подчас их голоса имеют некое сходство с нашими. Когда-то мы лелеяли надежду, что они и в самом деле похожи на нас, что круг замкнулся на существах, с которыми мы можем поговорить. Я уже сбилась со счета, сколько раз мы пытались растопить лед.

Я не помню, сколько эпох назад мы оставили эти попытки.

Столько циклов прошло за нашими спинами. Столько было гибридов, постчеловеков, бессмертных; богов и троглодитов-кататоников, узников чудесных колесниц, об устройстве которых возницы не имеют ни малейшего понятия. И ни один ни разу не навел коммуникационный лазер в нашу сторону, не сказал: «Эй, как дела?» Или: «Представляете, мы победили дамасскую болезнь!»¹ Или даже: «Спасибо, ребята, так держать!»

Мы не какой-нибудь там сраный карго-культ. Мы – хребет вашей долбаной империи. Без нас вас вообще бы здесь не было.

И еще... и еще: вы – наши *дети*. Во что бы вы ни превратились, когда-то вы были такими же, как мы, как я. Когда-то я верила в вас. Давным-давно я верила в эту миссию всем сердцем.

Почему вы оставили нас?

И вот начинается новая сборка.

На этот раз, открыв глаза, я обнаруживаю перед собой знакомое лицо, которого я прежде не видала: всего-то мальчишка, физиологически – лет двадцати с небольшим. Его лицо слегка перекошено, левая скула чуть плотнее правой. Уши великоваты. Он выглядит почти естественно.

Я не разговаривала тысячи лет. Вместо голоса шепот:

– Кто ты?

От меня ждут не того, – знаю. На «Эриофоре» после пробуждения таких вопросов не задает *никто*.

¹ То есть религиозный фанатизм. По библейскому преданию, Савл из Тарса по пути в Дамаск услышал голос: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» и ослеп, но через три дня был исцелен христианином Ананией. После этого Савл обратился в христианство и прославился как апостол Павел.

– Я ваш, – говорит он, и вот так запросто я становлюсь матерью.

Мне хочется привыкнуть к этой мысли, но он не дает мне такой возможности.

– По графику вас будить еще рано, но Шимпу на палубе потребовалась помощь. С ближайшей сборкой проблемы.

Значит, Шимп до сих пор у руля. Он всегда у руля. Миссия продолжается.

– Проблемы? – переспрашиваю я.

– Возможно, контактный сценарий.

Интересно, а когда он родился? Подозревал ли обо мне до этого момента?

Он мне не говорит. Сообщает только:

– Прямо по курсу звезда. В половине светового года. Шимп полагает, что она вышла с нами на контакт. Короче... – Мой... сын пожимает плечами. – Никакой спешки. Времени еще куча.

Я киваю, а он все мнется – ожидает вопроса, но ответ уже читается у него на лице. Нашим резервистам полагается существовать в первозданном виде – они производятся из отборных генов, спрятанных глубоко под железобазальтовой оболочкой «Эри», надежно укрытых от мороси синего смещения. И все-таки у этого мальчишки есть дефекты. Пострадало его лицо: я так и вижу, как на микроскопическом уровне от крошечных отзеркаленных нуклеотидных пар разбегается резонанс и чуть заметно перекашивает его. Кажется, будто он вырос на какой-то планете. Будто его зачали родители, всю жизнь жарившиеся на солнечном свету.

Как же далеко мы забрались, если даже наши безупречные кирпичики до такой степени подпортились? Сколько времени на это ушло? Сколько я уже мертва?

«Сколько?» Вот вопрос, который все задают первым делом.

Я тут уже очень давно, мне не хочется этого знать.

Явившись на мостик, я застаю сына в одиночестве возле тактического бака. В глазах у него сплошь иконки и траектории. Кажется, я вижу в них и собственное отражение.

– Не уловила твое имя, – говорю я, хотя знаю его из судовой декларации. Нас еще толком и не представили друг другу, а я уже лгу ему.

– Дикс, – говорит он, не отрывая взгляда от бака. Ему за десять тысяч лет. Из них он жил от силы двадцать. Интересно, много ли парню известно, с кем он успел пообщаться за эти набежавшие по капле десятилетия? Знаком ли он с Измаилом, с Конни? В курсе ли насчет Санчеса – примирился ли тот с долей бессмертного?

Мне хочется знать, но вопросов я не задаю. Таковы правила.

Я озираюсь вокруг себя:

– Больше никого?

– Пока да, – кивает Дикс. – Вызовем еще, если понадобится. Хотя...

Его голос затухает.

– Да?

– Ничего.

Я встаю рядом с ним. В баке повисли прозрачные облака – словно застывший дым с цветовой маркировкой. Мы находимся на краю молекулярного пылевого облака. Оно теплое, полуорганическое, содержит множество первичных веществ – формальдегид, этиленгликоль, весь стандартный набор пребиотиков. Хорошая площадка для быстрой сборки. В центре бака тускло светится красный карлик. Шимп назвал его DHF428 – согласно принципам, до которых мне давно уже нет дела.

– Ну рассказывай, – говорю я.

Он бросает раздраженный, даже рассерженный взгляд.

– И вы туда же?

– В смысле?

– Куда и остальные. На предыдущих сборках.

Шимп может просто впрыскивать информацию, но им все время надо *говорить*.

Черт, да у него же подключен адаптер. Он в сети. Я выдавливаю улыбку.

– Это всего лишь... культурная традиция, наверное. Чем больше мы разговариваем, тем легче нам... восстановить контакт. После такой долгой отключки.

– Но это ведь так медленно, – сетует Дикс. Он не знает. Почему он не знает?

– У нас еще половина светового года впереди, – поясняю я. – Есть причины для спешки?

У него дергается уголок рта.

– Фоны² высланы согласно графику. – Как по заказу, в баке вспыхивает рой фиолетовых искорок – за пять триллионов километров от нас. – Пока в основном поглощают пыль, но подвернулась и парочка крупных астероидов – фабрики начали работу с опережением. Уже экструдировали исходные компоненты. А потом Шимп зафиксировал сдвиги в излучении звезды – в основном в инфракрасной части спектра, но с заходом в видимую.

Бак подмигивает нам: теперь карлик подается в замедленной съемке.

И точно, он *мерцает*.

– Сигнал упорядоченный, я так понимаю.

Дикс слегка наклоняет голову вбок – даже и кивком не назовешь.

– Отобразить график временного ряда.

Я так и не изжила привычки слегка повышать голос, обращаясь к Шимпу. ИИ покорно (*покорно* – вот умора-то) убирает космопанораму и заменяет ее на последовательность точек.

.....

– Последовательность повторяется, – сообщает Дикс. – Сами импульсы не меняются, но промежутки между ними логлинейно возрастают, циклически повторяясь каждые 92,5 корсекунды³. Каждый цикл начинается на частоте 13,2 импульса в корсекунду, затем она постепенно снижается.

– А он точно не естественного происхождения? Может, в центре звезды пульсирует маленькая черная дыра?

Дикс качает головой – во всяком случае, жест похож: его подбородок по диагонали опускается, что неким образом символизирует отрицание.

– Но при этом сигнал слишком примитивен, чтобы содержать существенную информацию. На речь как таковую не тянет. Тут скорее... крик, что ли.

Он отчасти прав. Информации, может, и немного, но достаточно. *Мы здесь. Мы умные. У нас хватает мощи, чтобы к целой звезднице прикрутить световой регулятор.*

Может, не такое уж и хорошее это место для сборки.

Я поджимаю губы.

– То есть Солнце приветствует нас. Ты это хочешь сказать?

– Вероятно. Приветствует *кого-то*. Но для Розеттского сигнала⁴ этот чересчур прост. Это не архив, самоизвлечения не происходит. Не Бонферрони, не Фибоначчи⁵, не пи. Даже не таблица умножения. Перевод строить не на чем.

² Имеются в виду т. н. машины фон Неймана – класс машин, способных к самовоспроизведению. Применительно к освоению космоса обычно говорят о «зондах фон Неймана». – Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.

³ Корректированная (скорректированная) секунда. Необходимость корректировки возникает из-за того, что «Эриофора» движется на скорости, составляющей примерно одну пятую от скорости света.

⁴ По аналогии со знаменитым Розеттским камнем – плитой, обнаруженной в Египте в 1799 году. На камне один и тот же по смыслу текст записан тремя различными способами – древнеегипетскими иероглифами, египетским демотическим письмом и на древнегреческом языке. Находка камня позволила исследователям расшифровать древнеегипетскую письменность, которая до той поры оставалась загадкой.

И все-таки за сигналом стоит разум.

– Нужно больше информации, – заявляет Дикс, показывая себя блестящим знатоком очевидностей.

Я киваю.

– Фоны.

– Э-э-э, а что с ними?

– Выстроим их в систему. Из кучки слабых глаз соорудим один зоркий. Так будет быстрее, чем налаживать обсерваторию отсюда или переоборудовать какую-нибудь из фабрик на месте.

Его глаза округляются. Какое-то мгновение он кажется испуганным, непонятно с чего. Но мгновение проходит, и Дикс снова дергает головой.

– Но ведь мы слишком много ресурсов отнимаем у сборки, верно?

– Верно, – соглашается Шимп.

Я сдерживаю смех.

– Если тебя так волнуют сроки сдачи, Шимп, то прими в расчет, какой потенциальный риск представляет разум, способный контролировать мощность излучения целой звезды.

– Не могу, – признается он. – У меня недостаточно информации.

– У тебя вообще нет информации. О сущности, которой теоретически по силам зарубить всю нашу миссию на корню, если она пожелает. Так что, думаю, нам стоит хоть что-то разузнать.

– Хорошо. Фонам назначены новые задачи.

На ближайшей перемышке высвечивается подтверждение, и в пустоту уносятся инструкции со сложной последовательностью танцевальных па. Через шесть месяцев сотня самовоспроизводящихся роботов плавно выстроится в импровизированную наблюдательную решетку; возможно, спустя еще четыре у нас найдется что обсудить и помимо вакуума.

Дикс тарашится на меня с таким видом, словно я прочла магическое заклинание.

– Может, он и управляет кораблем, – поясняю я, – но вообще-то туп как пробка. Иногда приходится буквально разжевывать.

Дикс выглядит слегка оскорбленным, но удивления скрыть не может. Он этого не знал. *Не знал.*

Черт, да кто занимался им все это время? Кто за это в ответе?

Не я.

– Поднимите меня через десять месяцев, – говорю я. – Я опять на боковую.

Как будто и не уходила. Забираюсь на мостик – а Дикс стоит на прежнем месте, всматривается в экран. DHF428, распухший красный шар, заполняет весь тактобак, обращая лицо моего сына в дьявольскую маску.

Дикс едва достаивает меня взглядом. Глаза у него круглые, пальцы дергаются, словно под током.

– Фоны его не видят.

Я еще слегка заторможена после разморозки.

– Чего не в...

– Сигнал!

В его голосе слышится паника. Дикс качается взад-вперед, переминаясь с ноги на ногу.

– Показывай.

⁵ Подразумеваются неравенства Бонферрони и числа Фибоначчи, важные элементы математической науки. Последовательность Фибоначчи тесно связана с понятием «золотого сечения».

Обзорное поле делится пополам. Теперь передо мной горят два идентичных карлика, каждый примерно вдвое больше моего кулака. Слева – вид с «Эри»: DHF428 светит с перебоями, как и раньше – как, по идее, светила все минувшие месяцы. Справа – составная картинка: интерферометрическая решетка, образованная множеством точно выстроенных фонов; с учетом параллакса и распределения в несколько слоев их рудиментарные глаза обеспечивают относительно высокое разрешение. Контраст с обеих сторон отрегулирован так, чтобы бесконечное мигание карлика комфортно воспринималось человеческим глазом.

Правда, мигает он только на левой стороне дисплея. На правой 428-я горит ровно, как какая-нибудь стандартная свеча⁶.

– Шимп, а возможно ли, что решетке просто не хватает чувствительности, чтобы отражать колебания?

– Нет.

– Хм.

Я пытаюсь сообразить, есть ли у него причины лгать мне.

– Бессмыслица какая-то, – жалуется мой сын.

– Смысл есть, – бормочу я, – если мерцает не звезда.

– Но она же *мерцает*... – Он облизывает зубы. – Видно же, как она... погодите, вы хотите сказать, это что-то *перед* фонами? Между... между ними и нами?

– Ммм.

– Какой-то фильтр, значит. – Диск немного расслабляется. – Хотя мы ведь тогда бы его увидели, правда? И фоны бы его пробили по пути.

Я снова перехожу на командирский тон:

– Каково поле обзора «Эри» прямо по курсу в настоящий момент?

– Восемнадцать микроградусов, – отвечает Шимп. – В районе 428-й конус видимости составляет три целых тридцать четыре сотых светосекунды в поперечнике.

– Увеличить до сотни светосекунд.

Полоса посреди визира «Эри» разъезжается и поглощает раздвоившуюся картинку. На мгновение звезда заполняет весь бак, заливая мостик багряным светом. Затем съезживается, словно выеденная изнутри.

Изображение несколько размыто.

– Можешь убрать шум?

– Это не шум, – докладывает Шимп. – Это пыль и молекулярный газ.

Я моргаю.

– Плотность?

– Ориентировочная – сто тысяч атомов на кубометр.

На два порядка выше нормы, даже для туманности.

– Почему такая высокая?

Если в некоем гравитационном поле удерживается столько материи сразу, то мы должны были это засечь.

– Не знаю, – рапортует Шимп.

У меня есть нехорошее чувство, что уж я-то знаю.

– Расширить поле обзора до пятисот светосекунд. Усилить условные цвета в ближнем инфракрасном.

Космос в баке затягивает зловещая мгла. Крошечное Солнце в центре, размером уже с ноготь, сияет ярче прежнего; раскаленная жемчужина в мутной воде.

– Тысяча светосекунд, – приказываю я.

⁶ Стандартными свечами называют астрономические объекты, светимость которых стабильна и хорошо известна, что позволяет использовать их в качестве измерителей. Чаще всего в этой роли выступают сверхновые звезды типа Ia.

– Вот оно, – шепчет Дикс.

По краям дисплея вновь разливается космос как он есть: темный, ясный, первозданный. А 428-я устроилась в сердце тусклой сферической оболочки, какие в общем-то не редкость, – это сброшенные обноски звезд-компаньонов, которые в судорогах расшвыривают газ и радиацию на целые световые годы. Только 428-я – не ошметок какой-нибудь новой. Это *красный карлик* – мирный, среднего возраста. Заурядный.

Не считая того факта, что он маячит ровнёхонько в центре разреженного газового пузыря диаметром в 1,4 а.е. И того, что этот пузырь не разжижается, не рассасывается, не истает понемногу в беспроглядной космической ночи. Нет: или с дисплеем какие-то серьезные неполадки, или эта небольшая сферическая туманность расплзается примерно на 350 светосекунд от центра, а потом попросту *останавливается*, и ее граница обозначена с четкостью, на какую природа не имеет права.

Впервые за тысячи лет мне не хватает моего кортикального кабеля. У меня уходит целая вечность, чтобы саккадами⁷ набрать запрос на клавиатуре в мозгу и получить ответ, который мне и без того уже известен.

Наконец данные возникают.

– Шимп. Увеличь яркость условных цветов на 335, 500 и 800 нанометрах.

Оболочка вокруг 428-й вспыхивает, словно крылышко стрекозы, словно переливчатый мыльный пузырь.

– Это прекрасно, – в благоговении шепчет мой сын.

– Это фотосинтез, – поправляю я.

Феофитин и эумеланин, если верить спектру. В некоторых количествах присутствует даже подобие пигмента Кейппера на основе свинца – он поглощает рентгеновские лучи в пикометровом диапазоне. Шимп высказывает предположение, что это так называемые хроматофоры, разветвленные клетки с небольшим содержанием пигмента, – к примеру, частиц угольной пыли. Собери эти частицы в кучку – и клетка фактически прозрачна; распредели по цитоплазме – и она потемнеет, станет приглушать все проходящие через нее электромагнитные волны. Похоже, на Земле существовали животные с такими клетками. Они умели менять окраску тела, сливаться с фоном и так далее.

– То есть звезду окружает оболочка из... из живой ткани, – произношу я, пытаясь свыкнуться с этой мыслью. – Что-то вроде... мясного пузыря. Окружающего целую чертову звезду.

– Да, – подтверждает Шимп.

– Но ведь это... Господи, да какой она толщины?

– Не более двух миллиметров. Возможно, меньше.

– Почему?

– При значительно большей толщине ее легче было бы обнаружить в видимой части спектра. И она оказала бы отчетливое воздействие на зонды фон Неймана, когда те проходили через нее.

– Это при условии, что ее... клетки, получается... похожи на наши.

– Пигменты узнаваемы; не исключено, что и остальное тоже.

Только *совсем* привычными они быть не могут. Ни один обыкновенный ген не продержался бы в такой среде и двух секунд. Я уже не говорю о той чудодейственной субстанции, которая заменяет этой штуке антифриз...

⁷ Саккады – быстрые одновременные движения глаз. Как правило, произвольны, хотя при определенных условиях и поддаются сознательному контролю. Феномен саккад играет важную роль в романе Питера Уоттса «Ложная слепота».

– Хорошо, давайте тогда по заниженному варианту. Пускай средняя толщина составляет один миллиметр. Плотность как у воды при стандартных условиях. Какой будет общая масса объекта?

– 1,4 йотаграмма, – почти в унисон отвечают Дикс и Шимп.

– Это, хм...

– Половина массы Меркурия, – услужливо подсказывает Шимп.

Я присвистываю сквозь зубы.

– И это все *один* организм?

– Я пока не знаю.

– У него органические пигменты. Да он же *говорит*, мать вашу. Он разумен.

– Большинство циклических сигналов, исходящих от живых источников, представляют собой простые биоритмы, – заявляет Шимп. – Разума в них нет.

Я игнорирую его и обращаюсь к Диксу:

– Предположим, это все-таки сигнал.

Он хмурит брови.

– Шимп говорит...

– *Предположим*. Включи воображение.

До него никак не доходит. Он, кажется, нервничает.

Он даже очень нервничает, понимаю я вдруг.

– Если бы кто-нибудь подавал тебе сигналы, – говорю я, – как бы ты тогда поступил?

– Дал бы... – На лице – замешательство, потом где-то внутри замыкается спутанная цепь – ...Ответный сигнал?

Мой сын идиот.

– Ну а если сигнал поступает в форме систематических колебаний интенсивности света, то как...

– Использовал бы ТИ-лазеры⁸, испускающие импульсы в промежутке от 700 до 3000 нанометров. С их помощью можно разогнать совокупный переменный сигнал до эксаваттного диапазона, не подвергая риску нашу защиту; после дифракции получается более тысячи ватт на квадратный метр. Это гораздо выше порога обнаружения для объекта, способного воспринимать тепловое излучение красного карлика. А содержание не так уж и важно, если нас просто окликают. Значит, отзовемся. Послушаем эхо.

Хорошо, мой сын не обычный идиот, а савант⁹.

Только вид у него все равно несчастный.

– Шимп, но ведь настоящей информации она не передает, правда?

И снова нехорошие предчувствия выползают на первый план. *Она*.

Дикс принимает мое молчание за амнезию.

– Сигнал ведь слишком примитивный, помните? Несложная последовательность импульсов.

Я качаю головой. В этом сигнале столько информации, что Шимп и представить не может. Он очень многого не знает. И меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы этот... этот *ребенок* советовался с ним, смотрел на него как на равного или, не дай бог, как на наставника.

Да, ему хватает ума на то, чтобы прокладывать курс между звездами. На то, чтобы в мгновение ока высчитывать простые числа в миллион знаков. Даже на примитивную импровизацию, если команде случится слишком заметно отойти от целей миссии.

⁸ Лазеры тормозной ионизации. «Эриофора» использует для торможения т. н. двигателя Бассарда. Те, в свою очередь, используют для захвата частиц ионизирующие лазеры.

⁹ Синдром саванта – состояние, при котором лица с нарушениями умственного развития (в частности, аутистического спектра) проявляют незаурядные способности в каких-либо областях, например в математике или музыке.

Но не на то, чтобы узнать сигнал бедствия.

– Это кривая торможения, – говорю я им обоим. – Сигнал *замедляется*. Снова и снова. Вот и весь смысл.

Стоп. Стоп. Стоп.

И, кажется, предназначено послание для нас и ни для кого больше.

Мы откликаемся. Молчать причин нет. А потом опять умираем – какой смысл засиживаться допоздна? Стоит ли за этой колоссальной сущностью реальный разум или нет, но эхосигнал достигнет ее не раньше чем через десять миллионов корсекунд. И пройдет, по меньшей мере, еще семь миллионов, прежде чем мы получим ответ – если нам его отправят.

Ну а тем временем можно и залечь в склеп. Заглушить все опасения и желания, приберечь остаток отпущенной мне жизни для действительно важных моментов. Изолировать себя от бестолкового тактического ИскИна, от молокососа с влажным взглядом, который смотрит на меня так, словно я какой-то маг и вот-вот исчезну в клубах дыма. Дикс открывает рот, я отворачиваюсь и поскорее убираюсь вниз, навстречу забвению.

Но ставлю будильник, чтобы проснуться уже в одиночестве.

Какое-то время я валяюсь в гробу, радуясь скромным победам прошлого. С потолка смотрит мертвый, почерневший глаз Шимпа; за все эти годы никто не удосужился оттереть углеродные шрамы.

Это своего рода трофеем, напоминание о ранних пламенных днях нашей Великой Борьбы.

Есть что-то... успокаивающее, пожалуй, в этом неизменном слепом взгляде. У меня нет никакого желания соваться туда, где нервы Шимпа не прижгли с тем же усердием. Ребячество, конечно. Чертова железяка уже знает, что я не сплю: хоть здесь она слепа, глуха и беспомощна, во время разморозки склеп пожирает столько энергии, что ту никак не замаскируешь. Ну и не то чтобы шайка телероботов с дубинками только и дожидается, когда я высуну нос наружу. Все-таки у нас сейчас перемирие. Противостояние продолжается, но война выродилась в холодную: теперь мы просто действуем по привычке, гремим кандалами, будто мультиплет постаревших супругов, обреченных ненавидеть друг друга до скончания времен.

После всех маневров и контрманевров стало ясно, что мы друг другу нужны.

Так что я отмываю волосы от вони тухлых яиц и выхожу в безмолвные, как в соборе, коридоры «Эри». Так и есть, враг затаился во мраке: включает свет при моем приближении, выключает у меня за спиной – но молчания не нарушает.

Дикс.

Станный он все-таки. Не то чтобы ожидаешь от человека, родившегося и выросшего на «Эриофоре», образцового душевного здоровья, но Дикс не знает даже, на чьей он стороне. И даже того, кажется, что какую-то сторону надо выбирать. Как будто он ознакомился с изначальной формулировкой миссии и воспринял ее всерьез, уверовал в буквальную правоту древних свитков: Млекопитающие и Машины работают бок о бок – эпоха за эпохой, во имя исследования Вселенной! Единые! Могучие! Двигаем Фронтир вперед!

Ура.

Кто бы его ни растил, вышло так себе. Не то чтобы я их виню; надо думать, не особенно весело, когда во время сборки у тебя под ногами путается ребенок, к тому же всех нас отбирали не за родительские таланты. Даже если боты меняли подгузники, а инфозагрузку взяла на себя виртуальная реальность, никого бы не обрадовала перспектива общения с малышом. Я бы, наверное, просто выбросила гаденыша в воздушный шлюз.

Но даже я бы ввела его в курс дела.

Пока меня не было, что-то изменилось. Может, война разгорелась опять и вошла в какую-то новую стадию. Этот дерганый паренек отстал от жизни неспроста. Я размышляю, почему же именно.

И есть ли мне до этого дело.

Добравшись до своей каюты, балую себя дармовым обедом, потом мастурбирую. Через три часа после возвращения к жизни я отдыхаю в кают-компании по правому борту.

– Шимп.

– А вы рано встали, – отзывается он наконец и не грешит против истины: наш ответный крик еще даже не добрался до места назначения. Ждать новых данных имеет смысл месяца через два, не меньше.

– Покажи мне входной сигнал по курсу следования, – приказываю я.

Из центра помещения мне подмигивает DHF428: *Стоп. Стоп. Стоп.*

Теоретически. А может, прав Шимп, и тут чистая физиология. Может, в этом бесконечном цикле не больше разума, чем в биении сердца. Но в повторяющемся шаблоне заложен еще один – какие-то вспышки на фоне мигания. От этого у меня зудит в мозгу.

– Замедлить временной ряд, – распоряжаюсь я. – В сто раз.

Нам действительно подмигивают. Диск 428-й темнеет не весь сразу – это *постепенное* затмение. Как будто по поверхности звезды справа налево ползет гигантское веко.

– В тысячу.

Шимп говорил о хроматофорах. Но они проявляются и исчезают не в одно и то же время. Тьма распространяется по оболочке волнами.

В голове у меня всплывает термин: *задержка импульса*.

– Эй, Шимп. А эти пигментные волны – с какой скоростью они движутся?

– Около пятидесяти девяти тысяч километров в секунду.

Скорость мелькнувшей мысли.

И если эта штука в самом деле мыслит, то у нее должны быть логические элементы, синапсы – это должна быть некая сеть. И если сеть достаточно велика, то в середине располагается некое «я». Как у меня, как у Дикса. Как у Шимпа. (Из-за него-то я и решила изучить этот вопрос – еще в давнюю бурную пору наших отношений. Знай врага своего и все такое.)

У «я» есть особенность: во всех своих частях сразу оно способно удерживаться лишь не дольше десятой доли секунды. Когда оно чрезмерно разрежается – когда кто-то расщепляет ваш мозг пополам, перерубает, допустим, толстое мозолистое тело, и полушария вынуждены общаться между собой издалека, обходным путем; когда нейронная архитектура рассеивается за некую критическую точку, и передача сигнала из пункта А в пункт Б занимает на столько-то больше времени, чем положено, – тогда система, скажем так, утрачивает целостность. Две половинки вашего мозга становятся разными людьми с разными пристрастиями и целями, с разным восприятием себя.

«Я» распадается на «мы».

Это закон не только для людей, или млекопитающих, или даже земной жизни. Он верен для любого контура, обрабатывающего информацию, и так же применим к созданиям, которых мы еще лишь встретим, как и к оставшимся позади.

Пятьдесят девять тысяч километров в секунду, утверждает Шимп. Насколько сигнал успевает распространиться по этой оболочке за десятую долю корсекунды? Насколько тонко размазано его «я» по небесам?

Плоть необъятна, плоть непостижима. Но вот дух, дух...

Черт.

– Шимп! Если исходить из средней плотности человеческого мозга, то каково количество синапсов в круге из нейронов толщиной один миллиметр и диаметром пять тысяч восьмьсот девяносто два километра?

– Двадцать в двадцать седьмой степени.

Я запрашиваю в базе эквивалент разума, занимающего площадь тридцать миллионов квадратных километров: это два квадрильона человеческих мозгов.

Само собой, то, что заменяет этому созданию нейроны, уложено далеко не так плотно, как у нас: в конце концов, мы сквозь них видим. Давайте занижим оценку до предела: предположим, его вычислительная мощность составляет одну тысячную от показателей человеческого мозга. Это...

Ну хорошо, пускай будет одна *десятитысячная* нашей синаптической плотности. И все равно...

Стотысячная. Едва намеченная пленка мыслящего мяса. Если занижать дальше, то я сведу ее к нулю.

И все-таки это двадцать миллиардов человеческих мозгов. Двадцать *миллиардов*.

Я не понимаю, как к этому относиться. Перед нами не просто инопланетянин.

Но я не вполне еще готова уверовать в богов.

Завернув за угол, я налетаю на Дикса, который големом застыл посреди моей гостиной. Подпрыгиваю чуть не на метр.

– *Какого хера ты здесь делаешь?*

Кажется, моя реакция его удивляет.

– Хотел... поговорить, – произносит он после паузы.

– *Никогда* не заявляйся к другим, если не звали! Он отступает на шаг, запинаясь:

– Я хотел... хотел...

– Поговорить. Для этого есть общественные места. Мостик, кают-компания... если уж на то пошло, мог бы просто вызвать меня по связи.

Он смущается.

– Вы говорили, что хотите... лично. Что это *культурная традиция*.

Ну да, говорила. Но не здесь же. Это моя каюта, мое личное пространство. То, что эти двери не запираются, – уступка безопасности, а не приглашение входить в мое жилье и устраивать засады, стоять тут мебелью.

– Ты чего, вообще, встал? – рычу я. – По плану мы продолжаем работу только через два месяца.

– Попросил Шимпа разбудить меня, когда вы встанете.

Сраная машина.

– А зачем *вы* встали? – спрашивает он, даже и не думая уходить.

Я вздыхаю, смирившись с поражением, и усаживаюсь в подвернувшееся адаптокресло.

– Хотела просмотреть предварительные данные. «В одиночестве» подразумевается само собой и должно бы быть очевидно.

– Ну и как?

Не очевидно, значит. Я решаю подыграть:

– Похоже, мы вышли на контакт с... с островом. Шесть тысяч каэм в поперечнике. По крайней мере его мыслящая часть. Прилегающая область оболочки в основном пуста. Но все это – живое. Оно осуществляет фотосинтез или что-то вроде того. И питается, видимо. Не уверена только чем.

– Молекулярным облаком, – говорит Дикс. – Там везде органические соединения. Плюс оно концентрирует все необходимое под оболочкой.

Я пожимаю плечами.

– Понимаешь, для мозга рассчитаны предельные размеры, но эта штука такая громадная, она...

– Маловероятно, – бормочет он себе под нос.

Я поворачиваю голову, адаптокресло подстраивается под новую позу.

– О чем ты?

– Его площадь двадцать восемь миллионов квадратных километров, так? Тогда у сферы в целом семь квинтиллионов. И остров находится точно между нами и 428-й, а вероятность этого – один к пяти миллиардам.

– Продолжай.

Продолжать ему нечем.

– Ну, просто... просто это маловероятно.

Я закрываю глаза.

– Вот как тебе удастся быть таким умным, чтобы жонглировать в голове всеми этими цифрами, и настолько тупым, чтобы не делать очевидных выводов?

Все та же паника, вид как у животного на скотобойне.

– Не надо... я не...

– Да, это маловероятно. С точки зрения *астрономии* маловероятно, что мы случайно взяли курс на единственное разумное пятнышко на сфере диаметром в полторы астрономические единицы. И это означает...

Он молчит. Растерянность на его лице – насмешка надо мной. Я хочу двинуть ему кулаком. Но вот наконец загорается огонек:

– А, то есть островов больше, чем один? О! Целая куча островов!

Это создание – член экипажа. В один прекрасный день от него будет зависеть моя жизнь. Мысль крайне пугающая.

Я пытаюсь на время забыть об этом.

– Скорее всего, по оболочке разбросана целая популяция таких существ, наподобие... цист, что ли. Шимпу неизвестно, сколько их, но пока мы видим только одно, так что они, похоже, рассеяны не очень плотно.

Лицо его опять хмурится, но как-то по-новому.

– А почему Шимп?

– В смысле?

– Откуда у него такое имя?

– Не имя, а название.

Потому что дать чему-то имя – сделать первый шаг к его очеловечиванию.

– Я нашел значение – это сокращенное от «шимпанзе». Глупое животное.

– Вообще-то шимпанзе считались довольно сообразительными, – припоминаю я.

– Но не как мы. Они даже разговаривать не умели. А Шимп может. Он гораздо умнее этих тварей. Такое имя... это оскорбление.

– А тебе-то что?

Он просто глазеет на меня.

Я развожу руками.

– Ну ладно, никакой это не шимпанзе. Мы называем его так потому, что у него примерно такое же количество синапсов.

– То есть сами дали ему маленький мозг, а потом все время жалуетесь, какой он тупой.

Мое терпение на исходе.

– Ты к чему-то ведешь или так, кислород переводишь?

– Почему его не сделали умнее?

– Если система сложнее тебя, то предсказать ее поведение невозможно – вот почему.

И если хочешь, чтобы проект продолжался и после того, как тебя не станет, то не вручишь поводья тому, у кого гарантированно появятся собственные интересы.

Ой-ой, боже ты мой, ну кто-то ведь должен был ему рассказать про закон Эшби¹⁰.

– То есть ему сделали лоботомию, – говорит Дикс после паузы.

– Нет. Его не делали тупым, его тупым создали.

– Может, он умнее, чем вы думаете. Вот если вы такие умные, у вас свои цели, то почему же *он* до сих пор у руля?

– Не льсти себе, – говорю я.

– Что?

Не могу сдержать зловещей улыбки.

– Ты всего лишь исполняешь указания нескольких других систем, которые намного сложнее тебя.

Надо отдать им должное, конечно: уж столько звезд родилось и погасло, а организаторы проекта до сих пор дергают за ниточки.

– Я не... исполняю?..

– Прости, дорогой. – Я мило улыбаюсь своему слабоумному отпрыску. – Я разговаривала не с тобой. А со штуковиной, которая производит все те звуки, которые исходят из твоего рта.

Дикс становится блее моих трусиков. Я уже не притворяюсь:

– Ты на что рассчитывал, Шимп? Что сможешь подослать ко мне на порог эту марионетку, а я и не замечу?

– Нет... я не... это ведь *я*, – мямлит Дикс. – Это *я* говорю.

– Он тебя науськивает. Да ты хоть знаешь, что такое «лоботомия»? – С отвращением качаю головой. – Думаешь, раз мы выжгли свои адаптеры, то я забыла, как они работают? – Его черты начинают складываться в карикатурное удивление. – Лучше даже и не пытайся, мать твою. Ты же не спал на предыдущих сборках, как ты мог не знать? И тебе точно так же известно, что связь с домом мы тоже обрубили. Так что твой царь и бог ничего тут поделывать не может, потому что мы ему *нужны*. Таким образом, я бы сказала, мы достигли компромисса.

Я не кричу. Тон у меня ледяной, но голос совершенно ровный. И тем не менее Дикс чуть ли не съеживается передо мной.

А ведь этим можно воспользоваться.

Добавив в голос немного тепла, я мягко произношу:

– Знаешь, а ты ведь тоже так можешь. Выжги свой адаптер. Потом я даже разрешу тебе вернуться, если сам не расхочешь. Просто... поговорим. Только без этой штуки у тебя в голове.

На лице его паника, и вопреки ожиданиям у меня чуть не разрывается сердце.

– Не могу, – скулит он. – Как я буду учиться, откуда брать знания? Миссия...

Поскольку я и вправду не представляю, кто из них говорит, то обращаюсь к обоим сразу:

– Миссию можно выполнять по-разному, способов много. И у нас предостаточно времени, чтобы перепробовать их все. Буду рада видеть Дикса, когда он останется один.

Они делают шагок мне навстречу. И еще шагок. Одна из рук, подергиваясь, отлипает от бока, поднимается и как будто тянется ко мне, а на перекошенном лице возникает выражение, которое я не совсем понимаю.

– Но я же ваш *сын*, – лепечут они.

Я не достаиваю их даже отрицанием:

¹⁰ Закон необходимого разнообразия, доказанный английским психиатром и пионером кибернетики Уильямом Россом Эшби (1903–1972), известен во множестве формулировок, но по сути сводится к короткой фразе: «Простое не может управлять сложным».

– Вон из моего дома.

Человек-перископ. Троянский Диск. Это что-то новенькое.

Раньше Шимп не отваживался на столь откровенные вторжения, когда мы бодрствуем. Прежде чем посягнуть на нашу территорию, он обычно дожидается, пока мы погрузимся в смертный сон. Мне представляются дроны, каких не видел ни один человек, – изготовленные специально для этого случая, кое-как сработанные во время длинных темных вечностей, разделяющих сборки; я вижу, как автоматы обшаривают ящички и заглядывают за зеркала, дубасят по переборкам рентгеном и ультразвуком, терпеливо, бесконечно, миллиметр за миллиметром прочесывают катакомбы «Эриофоры» в поисках неких тайных посланий, которые мы отправляем друг другу сквозь толщу времен.

Никаких улик у нас нет. Мы предусмотрительно расставляли ловушки и сигнальные устройства, но те еще ни разу ничего не засекли. Это ни о чем не говорит, само собой. Может, Шимп и туповат, но все же и хитер, а миллион лет – более чем достаточный срок, чтобы проработать все до одного варианты, используя примитивный перебор. Зафиксируй положение каждой пылинки, потом сколько угодно занимайся своими неведомыми махинациями; как закончишь, верни все на место.

Мы не так глупы, чтобы переговариваться через эпохи. Никаких зашифрованных планов, любовных писуллек издадека, никаких открыток с болтовней и древними пейзажами, которые давно уже ушли в красное смещение. Все это мы храним в собственных головах, куда врагу никогда не забраться. У нас есть неписаное правило – если общаться, то лишь лицом к лицу.

Нескончаемые идиотские игры. Временами я почти забываю, из-за чего вообще мы грыземся. Сейчас, когда на горизонте бессмертное существо, все выглядит таким мелким.

Может, для вас это пустяки. С тех вершин, на которые вы успели забраться, новость о бессмертии кажется давным-давно устаревшей. Но я не могу даже представить такое, хотя пережила целые миры. У меня нет ничего, кроме мгновений: две-три сотни лет, которые надо растянуть на весь срок существования Вселенной. Я могу стать свидетельницей любого момента времени: сотен или тысяч моментов, если нарезать жизнь совсем тонкими ломтиками, – но мне никогда не увидеть *всего*. Даже доли.

Моя жизнь конечна. Мне приходится выбирать.

Когда до тебя в полной мере доходит, на что ты подписалась, – после десятой или пятнадцатой сборки, когда необходимость компромисса уходит из разряда чистой теории и глубоко, словно рак, въедается в твои кости, – становишься скрягой. Иначе не получается. Минуты бодрствования ограничиваешь до абсолютного минимума: ровно столько, чтобы выполнить сборку, спланировать очередной контрманевр против Шимпа, чтобы (если потребность в человеческом общении для тебя еще актуальна) заняться сексом, понежничать и чуточку утешиться обществом млекопитающих сородичей посреди бескрайней тьмы. А потом поскорей забираешься в склеп, чтобы уберечь отпущенные тебе остатки жизни, пока снаружи простирается космос.

У нас есть время на образование. На сотню дипломных проектов – спасибо отборным обучающим техникам, придуманным пещерными людьми. Я таким не замораживаюсь. Зачем жечь свою тонюсенькую свечку ради занудного перечисления голых фактов, растрачивать по мелочам мою драгоценную, бесконечную и все-таки небеспредельную жизнь? Только дурак предпочтет голые знания возможности поглазеть вблизи на останки Кассиопеи А, пускай даже эту хренотень и не увидишь без условных цветов.

Но вот теперь... Теперь я хочу *знать*. Это создание, кричащее по ту сторону бездны, массой с Луну, шириной с Солнечную систему, тонкое и хрупкое, как крыло насекомого, – я бы с радостью отдала часть жизни, чтобы разгадать его тайны. Как оно устроено? Как вообще может *жить* у самой точки абсолютного ноля, тем более – мыслить? Каким

же колоссальным, неизмеримым интеллектом надо обладать, чтобы на расстоянии в половину светового года разглядеть нас, определить особенности наших глаз и инструментов и послать сигнал, который мы способны не то чтобы понять – хотя бы *уловить*?

И что произойдет, когда мы прошьем его на одной пятой скорости света?

По пути в склеп я запрашиваю свежие данные, и особых открытий не случается. В чертовой штуковине и без того уже полно дыр. Кометы, астероиды, весь привычный протопланетный мусор проносятся через эту систему, как и через все прочие. В инфракрасном режиме повсюду виднеются диффузионные зоны в местах дегазации, где мягкий вакуум истекает наружу, в более глубокий. Подозреваю, даже если мы пробьем самый центр мыслящей части, для такого грандиозного существа это будет не большей булавочного укола. На такой скорости мы промчимся насквозь и удалимся слишком быстро, чтобы вызвать в миллиметровой мембране хоть какую-то инерцию.

И все-таки... *Стоп. Стоп. Стоп.*

Ну конечно же – дело не в нас. А в том, что мы строим. Рождение врат – бурный и мучительный процесс, насилие над пространственно-временным континуумом, по выбросу рентгеновских и гамма-лучей – рядом с микроквазаром. Все живое в белой зоне мгновенно обращается в пепел, никакая защита не поможет. Как раз поэтому мы сами и не задерживаемся, чтобы нащелкать фотографий.

Ну в том числе и поэтому.

Разумеется, мы и не можем остановиться. Даже смена курса исключена, разве что мельчайшими шажками. «Эри» парит меж звездами подобно орлу, но на малых расстояниях не поворотливей свиньи; сдвиньте направление движения даже на десятую долю градуса, и на двадцати процентах от скорости света получите серьезные повреждения. Сдвиг на полградуса нас просто разорвет: корабль, может, и вывернет на новый курс, но схлопнувшаяся масса в его брюхе пойдет старым и прорежет все прилегающие надстройки, даже и не почувствовав этого.

И у прирученных сингулярностей есть свои привычки. Перемены они недолюбливают.

Когда мы вновь встаем из мертвых, Остров уже поет другую песню.

Как только наш лазер коснулся его, он перестал выводить свое *стоп, стоп, стоп*. Теперь он просит о чем-то совсем ином: по его коже пробегают темные черточки, пигментные стрелки устремляются к некой невидимой точке, совсем как спицы, уходящие к ступице колеса. Сама эта точка скрыта от нас и лишь предполагается; от нее далеко до 428-й, горячей ярким фоном, но ее положение довольно легко просчитывается – это шесть светосекунд по правому борту. Есть и еще кое-что: по одной из ступиц, словно бусина по нитке, скользит округлая тень. Она также сдвигается вправо, пропадает с импровизированного дисплея Острова и возникает в начальной позиции, бесконечно повторяя свой маршрут.

Эта позиция в точности соответствует месту, в котором мы через четыре месяца пробьем мембрану. Прищурившись, какой-нибудь бог разглядел бы, что по ту ее сторону в самом разгаре строительная суeta, и огромный прерывчатый тор, обруч Хокинга, уже обретает форму.

Суть послания до того очевидна, что ее улавливает даже Дикс.

– Оно хочет, чтобы мы сдвинули врата... – Его голос выдает замешательство. – Но откуда ему известно, что мы *вообще* их строим?

– Фоны по пути прошли через него, – замечает Шимп. – Оно наверняка это почувствовало. У него есть фотопигменты. Возможно, оно способно видеть.

– И скорее всего, получше нашего, – добавляю я. Даже с простейшими точечными камерами можно быстро добиться высокого разрешения, если рассеять горстку на площади тридцать миллионов квадратных километров.

Однако Дикс морщится, он все еще в сомнениях.

– Значит, оно видит снующих рядом фонов. Отдельные блоки – там и не собрали-то ничего толком. Откуда ему знать, что мы строим что-то *опасное*?

Да оттуда, болван малолетний, что оно очень, очень умное. Неужто так трудно поверить, что этот, этот... – кажется, слово «организм» здесь слишком слабое – попросту *сообразил*, какой цели служат эти недостроенные блоки, взглянул на наши пруттики с камешками и точно угадал, к чему идет дело?

– Может, оно видит врата не в первый раз, – говорит Дикс. – А вдруг там есть еще одни? Я качаю головой.

– Тогда бы мы уже заметили линзовые артефакты.

– Вы когда-нибудь встречали других прокладчиков?

– Нет.

Все эти эпохи мы были одни. Мы только и делали, что *убегали*.

В том числе от собственных детей.

Я провожу кое-какие расчеты.

– До осеменения сто восемьдесят два дня. Если сместиться сейчас, то для подгонки под новые координаты достаточно подкорректировать курс на несколько микроградусов. Целиком в пределах допустимого. Конечно, чем дольше мы тянем, тем рискованней угол.

– Исключено, – вставляет Шимп. – Мы уйдем от ворот на два миллиона километров.

– Сдвинь ворота. Весь комплекс сдвинь, чтоб его. Очистительные установки, фабрики, астероиды эти долбанные. Если послать команду немедленно, то сотни-другой метров в секунду хватит с головой. Даже сборку останавливать не придется, будем строить на лету.

– С каждым таким сдвигом доверительный интервал по сборке будет увеличиваться. Вероятность ошибки превысит допустимые значения, а мы ничего не выиграем.

– А как насчет того факта, что у нас на пути разумное существо?

– Я уже сделал поправку на возможное присутствие разумных инопланетных форм жизни.

– Так, во-первых, тут никаких «возможно». Оно там и вправду есть, мать твою. И с нашим нынешним курсом мы его сшибем.

– Мы не заходим в зоны обитаемости никаких планетарных тел. Ни одного свидетельства наличия космических технологий не обнаружено. Текущее положение точки сборки отвечает всем консервационным критериям.

– Это потому, что люди, которые разрабатывали эти твои критерии, и помыслить не могли о живой сфере Дайсона!¹¹

Но я впустую сотрясаю воздух и понимаю это. Шимп может прорешать свои уравнения хоть миллион раз, но, если в них не предусмотрено место для новой переменной, что ему делать?

Давным-давно, когда до разборок еще не дошло, у нас был допуск к изменению таких параметров. Когда мы еще не выяснили, что бунт организаторы *тоже* предусмотрели.

Я пробую другой подход:

– Оценить потенциальную угрозу.

– Никаких данных в пользу этого.

– Да ты посмотри, сколько синапсов! У этого существа вычислительная мощность на несколько порядков больше, чем у всей цивилизации, которая нас сюда заслала! Неужели ты думаешь, что с таким умом можно прожить так долго и не научиться себя защищать? Мы

¹¹ Гипотетическое рукотворное сооружение, концепцию которого предложил американский физик-теоретик Фримен Дайсон (род. 1923). Представляет собой тонкую сферическую оболочку, в центре которой находится звезда. Внутренняя поверхность сферы улавливает энергию звезды, а также может служить местом обитания людей. Несмотря на свою спорность, концепция в различных вариациях до сих пор используется в научной фантастике.

принимаем за данность, что оно *просит* нас сдвинуть ворота. А что, если это не просьба? Что, если нам всего лишь дают шанс одуматься, пока оно не взяло дело в свои руки?

– У него же *нет* рук, – доносится с другой стороны тактобака. И ведь Дикс даже не издается – просто он до того тупой, что мне хочется проломить ему башку.

Я стараюсь не повышать голоса:

– Может, они ему и не нужны.

– Ну и что оно сделает – заморгает нас до смерти? Оружия у него нет. Оно и мембрану контролирует не полностью. Сигнал распространяется слишком медленно.

– *Наверняка мы не знаем.* О чем я и говорю. Даже и не пытались выяснять. Черт, да ведь мы же обслуживающий персонал, а на месте сборки у нас только и есть, что кучка строительных фонов, насильно переделанных под научные цели. Мы можем просчитать кое-какие элементарные физические параметры, но нам неизвестно, как именно мыслит это создание, какие у него могут быть естественные средства защиты...

– Что вам требуется выяснить? – спрашивает Шимп, само спокойствие и рассудочность.

«Да ничего тут не выяснишь! – хочу заорать я. – О чем знаем, с тем и работаем! К тому времени, когда фоны начнут исполнять наши команды, дороги назад уже не будет! Сраная ты железяка, мы же вот-вот убьем существо, которое умнее, чем все жившие на свете люди, вместе взятые, а тебе лень даже перекинуть нашу автостраду на соседний пустырь?»

Только если сорваться вот так, то шансы Острова на выживание, конечно же, упадут от низких до нулевых. Так что я хватаюсь за единственную оставшуюся соломинку: вдруг имеющихся данных все-таки хватит. Раз уж о сборе новых речи не идет, придется обойтись анализом.

– Мне нужно время, – говорю я.

– Не вопрос, – откликается Шимп. – Можете не торопиться.

Шимпу мало убить это создание. Еще и плюнуть на труп хочет.

Под видом помощи в анализе он пытается деконструировать Остров, разъять его на части и втиснуть в примитивные земные стандарты. Рассказывает мне о бактериях, которые жили припеваючи, поглощая излучение в миллионы рад, и плевать хотели на глубокий вакуум. Показывает снимки неубиваемых малюток-тихоходок, имевших свойство сворачиваться калачиком и дремать при температурах, близких к абсолютному нулю; они чувствовали себя как дома и в глубочайших морских впадинах, и в открытом космосе. Будь у этих беспозвоночных милашек время и условия, окажись они вне Земли – и кто знает, как далеко бы зашло их развитие? Ведь могли же они пережить гибель родной планеты, прицепиться друг к другу, образовать подобие колонии?

Какая феерическая чушь.

Пытаюсь узнать что могу. Изучаю алхимию фотосинтеза, преобразующего свет, газ и электроны в живую ткань. Постигаю физику солнечного ветра, который туго натягивает пузырь вокруг 428-й, высчитываю минимальные метаболические характеристики жизненной формы, способной отфильтровывать органику прямо из эфира. Поражаюсь скорости мышления этого существа – почти той же, с какой летит «Эри», на несколько порядков быстрее, чем у любых млекопитающих с их нервными импульсами. Возможно, тут нечто вроде органического сверхпроводника: материя, по которой замороженные электроны в холодной пустоте распространяются почти без сопротивления.

Я знакомлюсь с фенотипической изменчивостью и приспособляемостью, этим небрежным эволюционным механизмом без четкого фокуса, основанным на случайностях и позволяющим видам существовать в инородных средах обитания и обзаводиться новыми чертами, которые им прежде были не нужны. Возможно, именно так у жизненной формы без

всяких естественных врагов появились зубы, когти и готовность их использовать. Выживание Острова зависит от того, способен ли он убить нас; я обязана найти факты, которые превратят его в угрозу.

Но в итоге во мне лишь растет уверенность, что я обречена на провал, – как выясняется, насилие по своей природе *планетарное* явление.

Планеты жестоки к своим детям – эволюционным процессам. Сама их поверхность располагает к войне: ресурсы плотно сосредотачиваются на участках, которые можно защищать и отнимать. Из-за силы тяжести вам приходится растрчивать энергию на скелет и сосудистую систему, вечно быть настороже, ведь идет нескончаемая садистская кампания, цель которой – расплющить вас в лепешку. Чересчур высокий насест: один неверный шаг – и вся ваша драгоценная архитектура разбивается вдребезги. И даже если вы, избежав всех бед, смастерили себе какой-нибудь громохочущий бронированный каркас и под его защитой потихоньку выползли на сушу – так ли далек тот день, когда Вселенной вздумается сбросить с небес астероид или комету и обнулить ваш таймер? Стоит ли удивляться, что мы растем с убеждением, будто жизнь – борьба, игры с нулевой суммой – Божий закон, а будущее всегда за теми, кто давит конкурентов?

Здесь же действуют совсем другие правила. В космосе, по большей части, мирно: ни суточных, ни сезонных циклов, никаких ледниковых периодов и глобальных потеплений; там нет диких колебаний между жаром и холодом, покоем и бурей. Повсюду вещества, предшествующие жизни: они есть на кометах, липнут к астероидам, рассеяны по туманностям шириной в сотни световых лет. Молекулярные облака лучатся органической химией и жизнетворной радиацией. Их необъятные пыльные крылья напитаются теплом из инфракрасной части спектра, отсеивают все самое опасное и порождают межзвездные питомники, в которых может углядеть что-то гибельное лишь какой-нибудь недоразвитый беженец с самого дна гравитационного колодца.

Дарвин здесь превращается в абстракцию, бестолковую диковину. Этот Остров доказывает, насколько лживо все, что нам твердили об устройстве жизни. Живущий энергией звезды, идеально приспособленный, бессмертный, он не побеждал в борьбе за существование: где же все хищники, соперники, паразиты? Вся жизнь, окружающая 428-ю, образует один огромный континуум, грандиозный пример симбиоза. Природа здесь – не окровавленные клыки и когти. Здесь она протягивает руку помощи.

Не имея способностей к насилию, Остров пережил целые миры. Не обременяя себя технологиями, превосходит интеллект цивилизации. Он неизмеримо умнее нас и...

И он безобиден. Почти наверняка. С каждым часом я все больше уверяюсь в этом. Да способен ли он хотя бы *вообразить* врага?

Я вспоминаю, как называла его первое время. «Мясной пузырь». «Циста». Теперь кажется, что такие слова граничат с кощунством. Снова я их не произнесу.

Кроме того, есть и другое наименование – если Шимп поступит по-своему, то оно подойдет больше: труп на обочине. И чем дальше, тем сильнее во мне страх, что гадская машина права.

Если Остров и способен защищаться, то как именно – ни хрена не понятно.

– Знаешь, а ведь «Эриофоры» быть не может. Она нарушает законы физики.

Мы находимся в одной из ниш для экипажа, рядом с нижним хребтом корабля, – отдыхаем от копаний в библиотеке. Я решила начать с азов. Во взгляде Дикса ожидаемая смесь растерянности и недоверия: настолько идиотские утверждения и опровергать не нужно.

– Да-да, – заверяю я его. – Для ускорения корабля с такой массой требуется слишком много энергии, особенно на околосветовых скоростях. Это мощность целого Солнца. Люди

полагали, что если мы когда-нибудь и долетим до звезд, то разве что на корабликах размером с палец. А вместо экипажа – виртуальные личности, записанные на чипы.

Это чересчур абсурдно даже для Дикса.

– Ошибка. Без массы нет притяжения. Если бы «Эри» была такая маленькая, она бы просто не работала.

– Но что, если эту массу нельзя сместить? Не существует ни кротовин, ни туннелей Хиггса – то есть перекинуть свое гравитационное поле по курсу следования никак не получится. Твой центр масс расположен точнехонько... ну в твоём центре масс.

Фирменная судорога, она же качание головой.

– Но все это существует!

– Конечно. Только мы очень долго про такие вещи не знали.

Он взволнованно постукивает ногой по полу.

– В этом вся история нашего вида, – объясняю я. – Мы уверены, что во всем разобрались, разгадали все тайны, а потом кто-нибудь наталкивается на крохотный фактик, который не укладывается в парадигму. Когда мы пытаемся заделать трещину, она лишь растёт, а там и оглянуться не успеваешь, как рушится вся картина мира. Так случилось не раз и не два. Сегодня масса ограничение, завтра уже необходимость. Вещи, которые нам вроде бы известны, – они меняются, Дикс. И мы должны меняться вместе с ними.

– Но...

– А Шимп не меняется. Принципам, которым он следует, десять миллиардов лет, и фантазии у него – нуль. На самом деле ничьей вины тут нет, просто люди не знали, как ещё обеспечить стабильность миссии на такой долгий срок. Им требовалось, чтобы мы действовали согласно плану, так что они придумали штуку, не отступающую от планов; но они также знали, что все *меняется*, – и для того-то здесь *мы*, Дикс. Для решения проблем, с которыми Шимп не справляется.

– Ты про то существо, – говорит Дикс.

– Про него.

– Шимп прекрасно справился.

– Как? Решив его убить?

– Мы не виноваты, что оно у нас на пути. Угрозы оно не представляет...

– Да мне без разницы, представляет или нет! Оно живое, оно разумно, и убить его для того лишь, чтобы расширить какую-то там инопланетную империю...

– *Человеческую империю. Нашу.*

Внезапно руки Дикса перестают дергаться. Он становится неподвижен, как камень. Я хмыкаю.

– Да что ты знаешь о людях?

– Я *сам* человек.

– Трилобит ты гребаный. Ты хоть видел, что появляется из этих ворот после запуска?

– В основном ничего. – После паузы, поразмыслив: – Ну один раз были... корабли, кажется.

– Ну а я видела гораздо больше твоего, и, поверь мне, если эти создания *вообще* когда-то были людьми, то та стадия давно позади.

– Но...

– Дикс... – Сделав глубокий вдох, я пытаюсь вернуться к теме – Слушай, тут нет твоей вины. Все твои знания – от кретина, который катит по старой колее. Но мы это делаем не ради человечества, не во имя Земли. Земли давно *нет*, разве ты не понимаешь? Солнце выжгло её через миллиард лет после нашего отправления. На кого бы мы сейчас ни работали, они... они с нами даже не разговаривают.

– Да? Тогда зачем продолжать? Разве нельзя просто взять и... и прекратить?

Он и вправду не знает.

– Мы пытались, – говорю я.

– И?

– И твой Шимп обрубил нам все жизнеобеспечение.

В кои-то веки ему нечего сказать.

– Это *машина*, Дикс. Ну как ты не поймешь? Она *запрограммирована*. Измениться она не может.

– Мы тоже машины, только сделанные из других материалов. И все равно же *меняемся*.

– Неужели? А мне вот показалось, ты так присосался к этой своей титке, что не посмел даже выключить мозговой адаптер.

– Так я получаю *информацию*. Причин что-либо менять нет.

– А как насчет того, чтоб хоть изредка вести себя как человек, черт бы тебя побрал? Чуть-чуть сблизиться с людьми, которым, может, придется спасти твою убогую жизнь, когда ты в следующий раз высунешь нос из корабля? Хватит таких причин? Пока что – не стану скрывать – у меня к тебе доверия ноль. Я не точно знаю даже, с кем сейчас говорю.

– Я не виноват. – Впервые на его лице отражается что-то вне привычной гаммы из страха, замешательства и сосредоточенности математика-дурачка. – Это из-за вас, *все* из-за вас. Вы говорите... *криво*. И *думаете* криво. Вы все так делаете, и мне от этого *больно*. – В его чертах проступает жесткость. – Мне даже и не нужно было вас поднимать, – рычит он. – Я вас *не хотел*. Я и сам бы провел сборку, я же сказал Шимпу, что могу...

– Только Шимп рассудил, что меня все равно надо будить, а ты ведь всегда под него прогибаешься, правда? Потому что сраному Шимпу лучше знать, он твой *босс*, он твой *бог*. И из-за этого мне приходится вставать и нянчиться с безмозглым савантом, который не способен даже распознать приветствие, пока не ткнешь носом куда надо. – На задворках сознания что-то предостерегающе щелкает, но меня уже понесло: – Хочешь настоящий образец для подражания? Нужно кем-то восторгаться? Так забудь про Шимпа. Забудь про миссию. Посмотри вперед, а? Посмотри, какое существо твой драгоценный Шимп задумал уничтожить – просто из-за того, что оно оказалось у нас на пути. Да оно лучше нас всех. Умнее. Оно миролюбивое и не желает нам зла, совсем не...

– Откуда вы можете это знать? Этого знать нельзя!

– Нет, просто ты не знаешь, потому что ты гребаный *заморыш*. Любой нормальный троглодит понял бы все в ту же секунду, но *ты*...

– Бред! – шипит на меня Дикс. – Вы псих. Вы *плохая*.

– Это я-то плохая?!

Какой-то частью разума я улавливаю в своем голосе нездоровый визг, от которого шаг до истерики.

– Для миссии.

Дикс разворачивается и уходит.

В руках появляется боль. Удивленно опускаю глаза: я так сильно сжала кулаки, что ногти впились в ладони. Снова разжать их удастся с большим усилием.

Я почти вспоминаю это чувство. Когда-то оно было со мной все время. Давным-давно, когда все имело значение, когда еще азарт не выродился в ритуал, а ярость не остыла, чтобы стать презрением. Когда Санди Азмундин, вечная воительница, не довольствовалась оскорблениями в адрес недоразвитых детей.

Тогда мы были раскалены добела. Некоторые участки корабля до сих пор выжжены и непригодны для жизни. Я помню это чувство.

Чувство, что ты по-настоящему проснулась.

Я проснулась, я одна, а дебилов больше, и это меня уже достало. Существуют правила, есть факторы риска, и будить мертвых без весомой причины не положено, ну да и хрен с ним. Я вызываю подкрепление.

У Дикса должны быть и другие родители, как минимум отец – не от меня же он получил Y-хромосому. Подавляя в себе тревогу, сверяюсь с судовой декларацией, запрашиваю последовательности генов, нахожу соответствия.

Хм. Из других родителей – один лишь Кай. Интересно, это просто совпадение или Шимп извлек слишком прямолинейные выводы из нашего бурного секс-марафона в районе Большого провала, у созвездия Лебеда? Да какая разница. Он твой в той же мере, что и мой. Кай, пора взять на себя ответственность...

О нет. Вот дерьмо. Нет, только не это.

(Существуют правила. И факторы риска.)

Три сборки назад, гласит запись. Кай и Конни. Оба сразу. Один из воздушных шлюзов заклинило, до следующего оказалось слишком далеко. Между ними отыскался запасной аварийный ход. Оба все-таки сумели вернуться, но к тому времени жесткое фоновое излучение изжарило их прямо в скафандрах. Несколько часов после этого они дышали, говорили, двигались и плакали, как будто по-прежнему были живы, но их внутренности в это время разрушались и кровоточили.

В ту смену бодрствовали еще двое, которым и пришлось разгребать бардак. Измаил и...

– Э-э-э, но вы же говорили...

– Тварь!

Я вскакиваю и с размаху бью его по лицу. Десять секунд горя – и яростное отрицание, которого хватило бы на десять миллионов лет. Я чувствую, как подаются его зубы. Он падает на спину, глаза – большие, как линзы телескопа, губы уже заливают кровь.

– Вы говорили, я могу вернуться!.. – визжит он, отползая от меня подальше.

– Урод, он же был твоим отцом! Ты *знал*, ты *был* там! Он умер у тебя на глазах, а ты мне даже не сказал!

– Я... я...

– Почему ты не сказал мне, придурок? Это Шимп тебе велел солгать, да? Ты...

– *Я думал, вы знаете!* – кричит он. – Как вы могли не знать?!

Все бешенство вытекает из меня, как воздух через пробоину. Я бессильно опускаюсь на адапто-кресло и прячу лицо в ладонях.

– Это же есть в журнале, – хнычет он. – Там все есть. Никто ничего не скрывал. Как вы могли не знать?

– Я знала, – вяло отзываюсь я. – Точнее, я... я...

Точнее, я *не* знала, но ничего такого уж неожиданного тут нет на самом-то деле. Просто спустя какое-то время... перестаешь интересоваться.

Существуют *правила*.

– Вы даже не спрашивали, – тихонько произносит мой сын. – Как они там.

Я поднимаю голову. Дикс широко раскрытыми глазами пялится на меня с противоположного конца каюты, прислонившись к стене; он слишком напуган, чтобы прошмыгнуть мимо меня к двери.

– Что ты здесь делаешь? – устало выговариваю я. Его голос срывается. Ответить Диксу удается со второй попытки:

– Вы сказали, что я могу вернуться. Я выжег свой адаптер...

– Ты выжег свой адаптер.

Сглотнув, он кивает, потом вытирает кровь тыльной стороной ладони.

– Как к этому отнесся Шимп?

– Он... *машина* не возражала, – говорит Дикс, до того откровенно подлизываясь ко мне, что в этот миг я действительно готова поверить – может, он тут и вправду сам по себе.

– Значит, ты попросил у него разрешения. – Он хочет кивнуть, но у него все написано на лице. – Не надо пудрить мне мозги, Дикс.

– Вообще-то... он сам это и предложил.

– Понимаю.

– Чтобы мы могли поговорить, – добавляет Дикс.

– И о чем же ты хочешь поговорить?

Он утыкается взглядом в пол и пожимает плечами.

Я встаю и подхожу к нему. Он напрягается, но я качаю головой и развожу руками.

– Все нормально. Нормально.

Приваливаюсь спиной к стене и сползаю на пол, рядышком с ним.

Несколько минут мы просто сидим.

– Как же давно это случилось... – говорю я наконец.

Он недоуменно смотрит на меня. Что вообще означает «давно» в нашем-то случае? Я делаю еще одну попытку:

– Знаешь, говорят, будто такой вещи, как альтруизм, не существует.

Его глаза на мгновение стекленеют, затем в них вспыхивает паника; я догадываюсь, что он пытался запросить в системе определение и потерпел неудачу. То есть мы и в самом деле одни.

– Альтруизм, – начинаю объяснять я. – Бескорыстие. Когда расстаешься с чем-то сам, чтобы помочь другому. – Кажется, он понимает. – Говорят, будто любой бескорыстный поступок в конечном счете сводится к манипуляциям, родственному отбору, взаимным выгодам и тому подобным вещам, но это заблуждение. Я...

Закрываю глаза. Это трудней, чем я ожидала.

– Я была бы рада просто *знать*, что с Каем все нормально, что Конни в порядке. Даже если бы ничего от этого не выгадывала, если бы мне это чего-то стоило. Даже если б не оставалось ни единого шанса встретиться с ними еще хотя бы раз. За такое можно заплатить почти любую цену – лишь бы знать, что с ними все хорошо. Лишь бы *верить*, что с ними все хорошо.

С ней ты виделась пять сборок назад. С ним не попадала в одну смену от самого Стрельца. Ну и что? Они же просто спят. Может, в следующий раз.

– Поэтому вы и не проверяете, – медленно выговаривает Дикс. На нижней губе у него пузырится кровь; он, похоже, не замечает.

– Да, не проверяем.

Только вот я проверила, и теперь их нет. Оба сгинули. Остались лишь заимствованные у них нуклеотиды, которые Шимп утилизировал в виде этого неполноценного и неприспособленного создания, моего сына. Мы с ним единственные теплокровные существа на тысячи световых лет, и как же мне сейчас одиноко.

– Прости меня, – шепчу я, а потом наклоняюсь и слизываю запекшуюся кровь с его разбитых губ.

Когда-то на Земле – тогда еще существовала некая Земля – водились такие мелкие зверьки, которых называли кошками. Одно время и у меня был кот. Бывало, я часами смотрела, как судорожно подергиваются во сне его лапки, усы и уши – это он преследовал воображаемую добычу в каких-то неведомых декорациях, которые рисовал его спящий мозг.

У моего сына такой же вид, когда Шимп червем вползает в его сны.

Это даже почти и не метафора – все буквально: кабель присосался к его голове, словно какой-то паразит; поскольку беспроводной адаптер выжжен, информация поступает по ста-

рому доброму оптоволокну. Или, скорее, ее закачивают насильно: яд просачивается в голову Дикса, а не наоборот.

Меня здесь быть не должно. Разве я только что не закатила скандал, когда вторглись в *мое* личное пространство? («Только что». Двенадцать световых лет назад. Все относительно.) Однако Диксу в этом смысле терять нечего: ни украшений на стенах, ни намеков на творчество или хобби, ни мультимедийной консоли. Сексуальные игрушки, которые есть в каждой каюте, лежат на полках без дела. Я бы подумала, что он сидит на антилибидантах, если б недавно не убедилась в обратном.

Что я тут делаю? Может, это какой-то извращенный материнский инстинкт, пережиток некой родительской подпрограммы эпохи плейстоцена? Неужели я до такой степени робот, неужели мозговой ствол заставляет меня караулить своего ребенка?

Своего *партнера*?

Не так уж важно, любовник это или личинка: его жилище – пустая оболочка, Дикса в ней не ощущается. Есть лишь тело, разлегшееся на кресле, – пальцы подергиваются, глазные яблоки подрагивают под опущенными веками, реагируя на образы, возникающие в ускользнувшем куда-то разуме.

Они не знают, что я здесь. Любопытные глаза Шимпа мы выжгли миллиард лет назад, ну а мой сын не знает, потому... потому что сейчас для него никакого «здесь» не существует.

Как же мне быть с тобой, Дикс? Все это сплошная бессмыслица. Даже жестикуляция у тебя такая, будто тебя вырастили в резервуаре, – но ведь я далеко не первый человек, с которым ты сталкиваешься. Ты вырос в хорошей компании – с людьми, которых я знаю и которым доверяю. Доверяла. Как же тебя угораздило переметнуться на другую сторону? Почему они дали тебе ускользнуть?

И почему не предупредили меня?

Да, существуют правила. Угроза слезки во время долгих глухих ночей, угроза... новых утрат. Но ведь такое – это уже из ряда вон. Мог ведь кто-нибудь оставить мне подсказку, завернув ее в хитрую метафору, чтобы один тупица не догадался...

Я бы многое отдала за то, чтобы подключиться к этой трубке и увидеть то, что видишь ты. Разумеется, так рисковать нельзя; я выдам себя, чуть только затребую что-нибудь помимо скорости передачи данных, и...

Секундочку.

Скорость слишком низкая. Такой не хватит даже на графику хорошего качества, не говоря уже про тактильные и обонятельные ощущения. В лучшем случае ты пребываешь сейчас в некоем контурном мире.

Но вы только посмотрите на него. Пальцы, глаза... совсем как кот, которому снятся мыши и яблочные пироги. Так и я грезил о давно сгинувших горах и океанах Земли, пока не осознала, что жить в прошлом – лишь один из способов умереть в настоящем, и не более того. Скорости едва-едва набирается даже на тестовый шаблон; однако тело твое свидетельствует, что ты погружен в полноценную иную реальность. Какими же неправдами машина внушила тебе, что эта жидкая кашка – целое пиршество?

Зачем ей вообще это понадобилось? Данные лучше усваиваются, когда их можно потрогать, послушать и попробовать на вкус; наши мозги рассчитаны не на сплайны¹² и точечные диаграммы, а на гораздо более насыщенные впечатления. В самых сухих технических сводках чувственного и то больше, чем здесь. Зачем калякать схематичных человечков, когда можно писать маслом и голограммами?

Зачем вообще что-либо упрощают? Чтобы сократить число переменных. Чтобы управлять неуправляемым.

¹² Вид математической функции.

Кай и Конни. Это как раз таки была пара хаотичных, неуправляемых массивов данных. До несчастного случая. До того как схема *упростилась*.

Кто-нибудь должен был предупредить меня на твой счет, Дикс.

Может, кто-то и пытался.

И вот случается так, что мой сын покидает гнездышко, влезает в жучий панцирь и отправляется на обход. Он идет не один: в вылазке на корпус «Эри» его сопровождает один из телероботов Шимпа – на случай, если Дикс оступится и понесется в звездное прошлое.

Может, все это так и останется банальными учениями; может, этот сценарий – все системы управления резко отказали, Шимп и его дублеры недоступны, вся техническая часть внезапно навалилась на плечи живых людей – по сути своей не более чем генеральная репетиция катастрофы, которая никогда не произойдет. Но даже самый невероятный сценарий за время жизни Вселенной может подобраться к воплощению, поэтому мы и делаем что положено. Мы практикуемся. Задерживаем дыхание и выныриваем наружу. Времени всегда в обрез: на такой скорости фоновое излучение при синем смещении изжарит нас за несколько часов, даже если мы и в панцирях.

С тех пор как я в последний раз воспользовалась коммуникатором в своей каюте, родились и погибли целые миры.

– Шимп.

– Я тут, как и всегда, Санди.

Мягкий, беззаботный, дружелюбный тон. Непринужденный ритм бывалого психопата.

– Я знаю, чего ты добиваешься.

– Не понимаю.

– Думаешь, я не вижу, что происходит? Ты готовишь новую смену. Со старой гвардией слишком много бед, поэтому ты хочешь начать с чистого листа, с людьми, которые не помнят прежних времен. С людьми, которых... которых ты *упростила*.

Шимп молчит. С камеры дрона поступает сигнал: Дикс карабкается по нагромождениям базальта и металлокомпозитов.

– Но воспитать ребенка в одиночку тебе не под силу.

А он пробовал: в декларации нет ни одной записи о Диксе вплоть до его подростковых лет; тогда он попросту *появился*, и никто не задавал вопросов, потому что никто никогда...

– Полюбуйся, что ты с ним сотворил. Он прекрасно справляется с задачками на условия типа «если – тогда». Числовые массивы и ДО-циклы щелкает как орешки. Но он не умеет мыслить. Не способен на простейшие интуитивные прыжки. Ты похож на... – Мне вспоминается земной миф – из той эпохи, когда чтение еще не казалось таким бесстыдным разбазариванием жизни – ...Волка, который пытается воспитать человеческое дитя. Ты показываешь ему, как передвигаться на четвереньках, стараешься внушить ему стайное чувство, но не можешь научить его ходить на задних ногах, разговаривать и быть человеком, потому что ты полный кретин, Шимп, и теперь ты наконец-то это осознал. Потому ты и подбросил его мне. Решил, что я его для тебя подправлю.

Я делаю вдох – и свой главный маневр:

– Но он мне никто, понимаешь? Он хуже, чем никто, он – обуза. Шпион, дурак, только кислород переводит. Назови хоть одну причину, почему бы мне не запереть шлюз и не оставить его снаружи – пускай себе жарится.

– Ты его мать, – говорит Шимп, потому что начитался про родственный отбор, а нюансов не понимает, слишком туп.

– Ты идиот.

– Ты его любишь.

– Нет. – В груди у меня застывает ледяной комок. Мой рот выдает слова – взвешенные, без всякой интонации – Я любить не умею, безмозглая ты машина. Как раз поэтому я и здесь. Неужто ты и вправду думаешь, что твою драгоценную бесконечную миссию доверили бы стеклянным куколкам, которые не могут жить без отношений?

– Ты его любишь.

– Я могу убить его, когда захочу. И поступлю именно так, если ты не сдвинешь врата.

– Я тебе не дам, – добродушно заявляет Шимп.

– Это же совсем несложно. Просто сдвинь врата, и мы оба получим то, чего хотим. Ну или можешь упереться и попробовать как-то увязать необходимость материнского пригляда с моим твердым намерением свернуть шею этому маленькому засранцу. Впереди у нас долгий путь, Шимп. И может выясниться, что меня не так легко выкинуть из уравнения, как Кая и Конни.

– Ты не сумеешь сорвать миссию, – замечает он чуть ли не с нежностью. – Вы уже пытались.

– Сейчас речь не о срыве миссии. Ее лишь надо чуть-чуть притормозить. Отбросить твой оптимальный сценарий. Или спасаем Остров, или твой прототип умрет – другого конца у этой сборки не будет. Выбор за тобой.

Соотношение цели и средств тут элементарное. Шимп способен высчитать его в один миг. Однако молчит. Пауза затягивается. Ищет другой вариант, не иначе. Обходной путь. Уточняет истинность самих посылок сценария, пытается сообразить, всерьез я говорила или нет, и могут ли все его познания о материнской любви быть настолько ошибочны. Копаются, наверное, в статистике внутрисемейных убийств, подыскивает лазейку. Не исключено, что она даже существует. Только Шимп – не я, в нашем случае простая система старается понять более сложную, и это дает мне преимущество.

– Будешь мне должна, – произносит он наконец.

С трудом удерживаюсь от хохота.

– *Что?*

– Иначе я скажу Диксу, что ты угрожала его убить.

– Валяй.

– Ты же не хочешь, чтобы он знал.

– Да мне чихать, знает он или нет. Ты что, думаешь, он попытается убить меня в отместку? Что я потеряю его *любовь*?

На последнем слове я делаю акцент, растягиваю его, чтобы подчеркнуть его нелепость.

– Ты потеряешь его доверие. А вам здесь необходимо друг другу доверять.

– Угу. Доверие. Вот он, фундамент этой сраной миссии.

Шимп хранит молчание.

– Но чисто теоретически... – говорю я чуть погодя. – Допустим, я соглашусь. И что же именно я тебе буду *должна*?

– Услугу, – отвечает Шимп. – Которую окажешь в будущем.

Мой сын парит на фоне звезд, не подозревая, что его жизнь висит на волоске.

Мы спим. Шимп неохотно вносит поправки, корректируя мириады мелких траекторий. Я встаю по будильнику каждые пару недель, не жалея своей свечки на тот случай, если врагу вздумается выкинуть еще какой-нибудь номер; но пока что он, кажется, ведет себя прилично. DNF428 приближается к нам скачками, как в покадровой съемке, чередой бусин, нанизанных на бесконечную нить. Фабричный сектор на наших дисплеях смещается к правому борту: очистительные установки, резервуары, нанозаводы, рои фоннейманов, которые размножаются, пожирают и перерабатывают друг друга в защитные экраны и электрические схемы, буксиры и запасные детали... Отборные кроманьонские технологии расползаются по Вселенной, мутируя и выбрасывая метастазы, словно какая-то броненосная раковая опухоль.

А между *ними* и *нами* ширмой повисла переливчатая форма жизни – хрупкая, бессмертная и немислимо чуждая, самым необыкновенным фактом своего существования низводящая все достигнутое моим видом до уровня грязи и дерьма. Я никогда не верила в богов, в абсолютное добро и зло. Только в то, что одни вещи работают, а другие нет. Все прочее – фокусы для отвода глаз, для манипуляции рабсией вроде меня.

И все-таки я верю в Остров, потому что верить и не требуется. Его не нужно принимать на веру: он маячит прямо перед нами, его существование – эмпирический факт. Мне никогда не постичь его разума. Обстоятельства его происхождения и эволюции останутся тайной. Но я его *вижу*: он так огромен, ошеломляющ, так далек от всего человеческого, что просто не может не быть лучше нас и всего, что получилось бы из нас со временем.

Я верю в Остров. Чтобы спасти его, я поставила на кон собственного сына. И убила бы Дикса в отплату за его смерть.

Может, еще убью.

Столько миллионов лет прожито впустую, но наконец-то я совершила нечто достойное.

Подлетаем.

Передо мной выстраиваются прицельные сетки, вложенные одна в другую, непрерывная гипнотическая череда перекрестий, нацеленных на мишень. Даже сейчас, за считанные минуты до пуска, расстояние делает будущие врата невидимыми. Момент, когда нашу цель можно будет разглядеть невооруженным глазом, не настанет. Мы пронизываем ушко слишком быстро: не успеешь и моргнуть, а оно уже позади.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.